PG3476
.I9
T3

ВОЛОДЯ ИВАНОВ

ТАЙНОЕ ТАЙНЫХ

809

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Пров. 193
ПРОВЕРКА 1954
ПРОВ.

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3476
.I 9
T3

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00026917944

6090/68

This book is due at the WALTER R. DAVIS LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold, it may be renewed by bringing it to the library.

DATE DUE	RETURNED	DATE DUE	RETURNED
NOV 01 2010	24 2010		

Form No 513, Rev. 1/84

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

PG3476
.I9
T3
И202

ТАЙНОЕ ТАЙНЫХ

РАССКАЗЫ

1300
81984
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ БИБЛИОТЕКА
Моск. Губ. Сов. Проф. Союзов.
UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ★ 1927 ★ ЛЕНИНГРАД

Главлит 67691. Гиз 17033.
Тираж 4000 экз.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ
БИБЛИОТЕКА
Моск. Губ. Сов. Проф. Союзов.

ЖИЗНЬ СМОКОТИНИНА

Когда, впервые после долгих войн, пришли в деревню плотники рубить богатому мужику Анфиногенову вместо сгоревшей новую избу, — насмешек над ними было много. То кричали, что топоры за революцию иступились—голов много порубили ими; то — осины им теперь, разучившись, не отличить от сосны; то — просто необ'яснимый солдатский мат. Но все ж было приятно сознавать наступившее стоящее время, когда можно и построиться и поработать не зря. И все подолгу ходили подле накиданных холмом желтых бревен и щупали хорошие златоустовские топоры.

Подрядчик, рубивший избу, был свой, деревенский, Евграф Смокотинин, низенький широконогий старичок. Евграф был запуган войной, голодом, непонятными налогами, а еще больше его запугали, когда вновь, после долгого перерыва, он начал подрядничать. Срубил в волости, на-совесть, лавку для кооператива, деньги назавтра получать, а кооператив возьми и лопни! Суд да дело, и не поймешь, кто виноват, и взыскивать не с кого. После этого он окончательно никому не верил и сам платил и себе требовал платить за работу вперед. Накануне рубки избы ему занедужилось, или он притворился, чтоб приучать детей, но он направил смотреть за работой младшего сына своего Тимофея.

Румяному, ясному и звонкоголосому Тимофею смотреть за работой и понукать плотников было скучно. Он схватил

топор, выбрал потяжелее лесину и — ударил! Топор зазвенел, охнуло дерево... Утро выдалось прохладное; на исподе листьев еще не обсохла роса; подле амбара ворковали голуби — и голоса у них были деловые, как и все в это утро. Плотники видя, как старается их хозяин, тоже крепко ухватились за топорища. Они были со стороны, не любили эту сытую деревню, и им хотелось показать, как по-настоящему должно работать. А хозяин словно желал с ними потягаться.

Здесь из-за амбара вышла Катерина Шепелова, вдова: мужа у ней убили на войне, она осталась с одним ребенком. Кто знает, чем она жила, — говорили, будто бы волостной кооператив заказывает ей для продажи вязать варежки. Да и велик ли от варежек доход. И часто, ночью, в открытое окно протягивалась из тьмы неизвестная рука, ставившая на подоконник узелок с пищей: тайная милостыня. Собой она была высокая, здоровая, молчаливая, голову держала несколько наискось, и казалось — мели землю длинные каштановые ее ресницы... Обойдя холм сутунков, сильно пахнущих смолой, она поровнялась с плотниками и медленно, словно стыдясь, взяла большую, аршина в полтора длиной щепу. Поклонилась им низко. Плотник взглянули на хозяина — тот горел над лесиной; думал он вырубить из нее матицу, а попался громадный сук, значит, опозорился: в матице сучков не полагается.

— Баба-то будто окно, раму бы ей подходявую: тут тебе и тепло и светло будет, — сказал один из плотников, глядя вслед Катерине.

Тимофей поднял голову и тут только заметил Катерину.

— Кто ей щепу дал?

— Сама взяла, — с неудовольствием ответил тот же плотник: хозяин, молодой и глупый, не знал, видно, обычая, по которому плотники могут давать щепы кому захотят.

Из-за неудавшейся матицы, из-за того, что по голосу плотников можно было понять, что он спорол какую-то глупость, — Тимофей рассердился, догнал уже ушедшую за амбар Катерину, схватил ее за рукав синей кофты и раздраженно крикнул:

— Кто тебе позволил щепы таскать?

Катерина плавно качнула плечами, — кофта у ней была старая, заплатанная, плохо застегнутая на груди и, должно быть, надетая на голое тело, потому-то она и прижала щепу к груди, словно ребенка, — и от этого ее движения словно что-то зарябило внутри Тимофея. Он протянул руку — с бабами он был боек — и вместо щепы, через незастегивавшуюся прореху, схватил ее за грудь. Катерина, — не так, как иные бабы: не завизжала, не заерзала, и ноги ее остались твердыми, она даже будто и не спешила его оттолкнуть, — Катерина только сказала:

— Полно, — и выпустила щепу.

Щепа медленно скользнула, ткнулась концом в землю и, прежде чем свалиться, легонько качнулась, словно вздыхая. Катерина подобрала под платок руки, повернулась, и вдруг Тимофею показалось, что вместе со щепой скользнуло так же его сердце, так же торчком, так же качнулось...

— Иди ты, задавалка, — прокричал он и, похлопывая себя отнятой щепой по сапогу, вернулся к работе. А щепа-то была тяжелая, и казалось — похлопывает он себя поленом.

— Грош на разживу да щепочку на растопку, — насмешливо поддразнил его все тот же плотник.

Но Тимофей не огрызнулся.

Попробовал он было выбрать новую лесину для матицы, но вдруг оказалось, что лес-то сплошь мяндач — сучковатый и сырой; что место для избы выбрано покатое, надо скапывать, выпрямлять; да и плотники лодыри, много курят и смеются. Захотелось домой — выпить чаю; пойти на реку, что ли — выкупаться.

— Канительше папаши получится, — сказал ему вслед насмешливый плотник: — жоха вырастет для нашего сословия.

И все плотники согласились с его мыслью.

Отец лежал на голбце, и когда сын вошел, он заохал, застонал, — Тимофею было противно видеть его притворство. Отец начал выспрашивать, как идет рубка. Кипящий самовар стоял на столе, сестра налила Тимофею чашку и придвинула сахар в стеклянной сахарнице, похожей на подойник. Тимофей не ответил отцу и выругал сестру:

— Только и знаете чай жрать, а он два цалковых кирпич!

Вышел на реку. На противоположном берегу в зарослях перекликались бабы, сбиравшие смородину. Он и на это рассердился. Стянул было сапог — выкупаться, — онучи были горячие и свернулись трубочкой, отдаленно напоминая форму его ноги. Он хлопнул кулаком по онуче.

Лето выдалось тихое, запашистое. К вечеру выпадал легкий дождь, выбивая каплями в пыли тонкую сетку; росы были тяжелы и теплы; майки — ароматные жуки, носившиеся по вечерам — тыкались, словно играя, в волосы: поздравляли с урожаем. Работать бы, рубить бы в это лето, все перепахать, все застроить, всю округу!

А Тимофей с того утра так и не заглядывал к срубу. Отец поругался, поругался и пришел сам вести дело. И на пашню не хотелось Тимофею, а с пашни все приезжали усталые, выпить было не с кем, и даже варка самогона уменьшилась. Вздумалось Тимофею погулять по реке с бродневм, а как сунул ногу в воду, так чуть было не вытошнило.

— Поди ты, — смущенно сказал он, опуская бродень на теплый песок, — болесть какую, что ли, прилепили?

Вечером знахарная бабка вспрыснула его с уголька, дали выпить крещенской воды, но и от этого не стало легче. Даже спать стал плохо. Той же знахарке обещал шерстяную

юбку, если ночью приведет на сеновал Катерину. Бабка всполошилась.

— Я тебе лучше Лизавету приведу, та и не так сухопара и соглашается. Катерина никак не ляжет. Перед мужем, грит, в обете и ни замуж, ни под мужика не пойду. Разве гостинец обещать настоящий, вроде ботинок, что ли...

Но и бабке Катерина ответила тем же темным словом: «Полно», и бабка, пристально взглянув на ее ресницы, вдруг зашикала, замахала руками.

Жара началась в небе, жара была в душе. Зрел колос, и зори были пьяны своей сытостью, весельем, как и поля.

Тогда Тимофей упросил отца справить ему подводу и уехал в город извозничать. Но извозчик из него выдался на редкость плохой. Хоть и стоял он на самых бойких перекрестках вроде того, что подле зеленой церквушки, похожей на лукошко с грибами; хоть и лошадь была сытая и тележка новая, окрашенная в голубую краску; хоть и парень будто бравый, — а подойдет седок — пьяный, дурак — посмотрит на ямщика и направится к следующему. Тимофей никогда не зазывал; подсобрав выручку, приворачивал к пивной и, облокотившись на стол, торопливо пил пиво; молча, как на перекрестке — не видя никого — глядел на столики. Однажды в праздник довелось ему выручить семь рублей; пошел, с приятелями по квартирному углу, в трактир. Один из них, гундосый и прыщеватый, рассказывал, как он вчера испортил девчонку, как она орала и царапала стену. Слушавшие долго хохотали над каждым словом.

— Пересплю разика два еще, да и ну ее... плаксива больно... — закончил гундосый.

— А не зажалеешь? — вдруг спросил Тимофеей.

— Чего? — удивился гундосый.

Тимофей тряхнул головой — и потребовал стакан водки... Приятели тоже, за компанию, выпили по стакану. Тогда Тимофей сказал:

— А я одну... вдову загубил, жениться не хотел, она мне и говорит: на ком этот вздох, тот бы в щепку изсох...

Водки осталось лишь полстакана. Стали обсуждать, что пить дальше — пиво или водку. Все давно забыли о словах Тимофея, а ему хотелось досказать, почему он не женился и как ее слова оказались брехней и только после ее слов началось ему настоящее везенье: зарабатывает он уйму, коляску скоро себе заведет на дутых... Многое хотелось ему рассказать, но так и не пришлось.

Утром он опохмелился в том же трактире, голова сразу необычайно прояснилась, и ему стало так весело, как не бывало давно. Стоял он опять на том же шумном перекрестке подле зеленой церковки, похожей на лукошко с грибами. Он бойко посматривал по сторонам, и какой-то старик в длиннополом сюртуке, умиленно указывая на него, сказал шедшей рядом с ним молодке: «Купец, Гаврылов, тысячами когда-то ворочал, а теперь до чего довели, — извозчик». И Тимофею было приятно, что его приняли за купца. Но вдруг направо от человека с лотком — пирожника — отошла женщина в синем платье. Легкие руки ее таким знакомым, единственным, движением скрылись у нее под платком, походка ее была единственная, тоскливая... Сразу та ясность, что порхала в Тимофее, слетала, как цвет ветром с шиповника; защипало в глазах... Крикнуть он было хотел, подхватил вожжи, и лошадь словно узнала ее, — смирная была всегда, а тут понесла в толпу! Мальчишку с сумкой сшибли, посыпались книжонки, пирожник упал, подвернулась какая-то бабка в длинной серой шали... А Тимофей кричал, нахлестывая лошадь: «Останови ее, останови!..» Румяный милиционер засвистал, сам забавляясь и суматохой, и свистом, и непонятным происшествием.

Тимофея забрали в часть. Просидел он неделю, выпустили: решили — больной. Лошадь за эту неделю исхудала, словно и она стыдилась. Тимофей продал лошадь,

пропил деньги и в опорках вернулся в село. Отец уже подрядился за этот год строить четвертую избу, а был все так же запуган. На нивах в жнивье гуляли жирные гуси; по утрам вдоль реки появлялась наледь, и крепко пожелтели осины. Катерина и думой не бывала в городе, все в том же синем латаном платье проходила она селом, и казалось — дали ей чужую жизнь жить, она и живет. Вскоре после приезда Тимофея волк задрал у них в поле жеребенка. С жеребенка сняли шкуру, а тушу оттащили в овраг, в кусты. Отец дал Тимофею дробовик, заряженный картечью, и приказал сидеть в кустах: кто знает, волки осенью злы, голодны, авось и придут на мясо. И верно, на рассвете в кустах таволжника вверху оврага показалась пара волков, — никогда не предполагал Тимофей, что у них такие громадные головы. Тимофей выстрелил, волки прыгнули, и один из них захромал. А Тимофею было скучно и хотелось спать. «Завтра найду», — подумал он и отправился домой. В деревне еще спали, но когда он вошел в улицу, уже показался из труб дым, и оранжево заблестели отсветами от печей маленькие окна. В окне избушки Катерины тоже мелькнуло оранжевое пламя. Тимофей заглянул. Катерина стояла к нему боком и тянула с печи лучины. Печка, видимо, слабо разгоралась, и она хотела добавить лучины. И опять Тимофей увидал ее руки: легкие, белые и пушистые, чем-то напоминавшие лен. Когда она касалась ими груди, то словно мелькали зарницы: не освещая, а наводя трепет и на ее лицо и на чужое. Ее, стоявшую неподвижно со щепами... даже какое-то умиление почувствовал Тимофей. Но едва она двинулась и руки опустились к бедрам, едва показалась линия грудей, словно крутой берег выступил из тумана, — Тимофею стало стыдно, мерзко — и того, что он даже думал на ней жениться и не было сил сказать о женитьбе и отцу и ей; и того, что он ждал опять этого слова «полно», и того, что он, здоровый, казалось, смелый человек стоит, как попрошайка, под

окном, не смея не только войти, но и подумать об этом.

Тимофей, дабы освободиться от таких мыслей, жирно сплюнул и, сплюнув, почувствовал на плече тяжесть ружья. Достал патрон и не мог припомнить — с картечью он или с дробью. «Все равно — три шага», — подумал он, и та необычайная ясность — что приходила однажды на перекрестке подле зеленой церквушки — опять нахлынула на него.

Он не убил ее, заряд угодил ей в плечо. Она пролежала полтора месяца на лавке под тулупом, присланным отцом Тимофея, — на суд она не явилась. Тимофей ничего не смог об'яснить суду — о колдовстве ему было стыдно говорить, хотя и хотелось. «Как щепа за сердцем», — сказал он и развел руками. Суд дал Тимофею год. Отсидев положенный срок, он уже не вернулся в свою деревню. В тюрьме он завел много знакомств, начал шляться с новыми знакомыми по ярмаркам, с цыганами сидеть в трактире. Жизнь казалась легкой, невсамделишной, все думалось: надо притти к отцу, поклониться в ноги и сказать, а что сказать — он и сам еще не знал. А пойти к отцу все не было времени, да и одежонка поистрепалась.

Опять была осень, заморозки, небо словно в инее. На одну из ярмарок привели откуда-то из-под Оренбурга необыкновенных аргамаков. Мужики за последнее время полюбили кровных лошадей, — цыгане предложили Тимофею дело. Но пригнавшие аргамаков тоже были коновалы опытные, хитрее цыган. Аргамаки стояли в сарае, одна стена сарая выходила в темный переулок. Цыгане выпилили доску. «Полезай» — сказал ему нетерпеливо самый молодой. Тимофей прыгнул: невиданная боль ударила ему в колени, — коновалы поставили вдоль стены волчьи капканы. Он закричал. Замелькали фонари, кто-то выстрелил. Тимофея долго били кулаками, плетью, допытывались — где цыгане. Он сказал. Тогда его ударили в бок поленом — и кинули в овраг,

за селом. У него вытек глаз, он начал хромать — и пошла о нем тяжкая слава. Теперь и пьяный даже он не думал возвращаться к отцу. Цыгане его гнали от себя, он совсем обносился, голодал, и однажды парни из соседней деревни предложили ему убить какого-то человека. За убийство они обещали валенки, полушубок и соглашались отвезти в город.

— Да, братишки, довела меня, подлюка! Идет, согласен непременно! — закричал он. Услышал свой голос — и попросил водки. Ему дали полстакана, и в санях, лежа среди парней, он врал им о своей любви к поповской дочери: как гонял его поп, как подговаривал деревню выселить его... Парни, неизвестно чему, хохотали, пока не доехали до угла большой пятистенной избы. Они предложили ему постучать в окно, крикнуть Игната и, когда тот выйдет, сунуть ему нож в живот. Тимофей так и сделал. Вышел Игнат, высокий мужик в длинном тулупе, похожий на попа. Был высокий спокойный месяц, и лицо у Игната было тоже спокойное, и шуба его казалось синей, а воротник походил на облака.

— Не мешай жить, — крикнул Тимофей, ударяя его ножом.

Однако нож скользнул, и вдруг все перемешалось в теле Тимофея. Он ясно почувствовал — горький снег во рту, шатающийся сугроб — и месяц скользнул у него между рук...

Утром Тимофея нашли за овинами, подле проруби на речке, мертвого. Голова у него была проломлена в трех местах, а десны — совершенно голые, как у ребенка. Родное село его было в тридцати верстах, думали — отец не приедет, а он приехал, на паре саврасых... Посмотрел сыну в лицо, перекрестил и, прикрыв его скатертью, велел положить в сани.

И вот Тимофей последний раз лежал дома, под образами, в горнице. Лысый дьячок читал псалтырь, кошка играла бахромой скатерти, сестра Тимофея пекла поминальный обед. Все было спокойно: без рева, без хлопот. В сенях

плотники стругали гроб, и насмешливый плотник, когда-то вместе с Тимофеем рубивший избу Анфиногенову, подтрунивал над недавно женившимся товарищем. Многие приходили проститься с покойником. Плотники, чтоб итти было легче, отодвигали в угол рассыпавшиеся по всем сеням, медовые запахом стружки. Пришла и Катерина. Перекрестилась, оправила медяки, сползавшие с глаз Тимофея, поцеловала его в лоб. Медяки делали его лицо испуганным и робким. «Полно», — сказала шопотом Катерина — и еще раз перекрестилась. В сенях она посмотрела на гроб. Плотники отдыхали, курили. Крепко пахло махоркой. Она туго, чтоб не скользил с плеч, затянула платок узлом на груди — склонилась к полу.

И никто теперь не помешал бы ей набрать щеп.

ПОЛЫНЬЯ

Жизнь, как слово — слаще и горче всего.

★

Богдан Шестаков очень изменился за последний год. Когда он напивался — в голову приходили тягучие мысли о смерти, а подумав, он начинал драку. В деревне его стали бояться и хвалили только за то, что он дерется не ножом, а постоянно палкой. Девки приставали меньше, и кто-то пустил по нем славу — порченый. И верно — всякий раз после пьянки его долго тошнило синей слизью, и если выскакивал из горла темный сгусток крови, то становилось легче дышать... Кожа на его огромном скуластом лице казалась какой-то гнилой, а маленькие глазки смотрели с такой злобой, словно дано было ему видеть мир в последний раз.

Был конец масляной, деревня много дней уже пила, дралась и, путаясь в огромных сугробах, орала матерные песни. Накануне прощеного воскресенья девки не пришли на вечерку, и Богдану хоть и скучно было драться без девок, но опять заныло сердце, опять в голове стало так, словно он стоял, наклонившись над бездонным оврагом — и Богдан разогнал вечерку, выбил в избе окна и даже ударил любимого своего друга Степку Бережнова. Ударил в ухо, в кровь, а Степка парень был гордый, удара не простит — и думал утром Богдан: теперь или Степку придется зарезать или

Степка зарежет его. Стало необычно тоскливо. Плохо растапливалась печь. Мать, перекладывая поленья, сказала ему:

— Хоть бы ты долги за бочки собрал, кончат тебя скоро. Степка по селу ходит — не миновать, говорит, тебе ножа.

В свободное от хозяйства время Степан бондарничал. Деньги за работу сбирать не умел, и часто надо бы сказать заказчику ласковое слово, а у него получалась брань. И то, что мать не пожалела его, а думала больше о деньгах, тоже как-то расслабило Богдана. Вяло и нехотя натянув щегольские, с узкими голенищами сапоги, взял обеденный нож со стола, вытер его два раза о подошву и сунул за голенище. Мать только громыхнула ухватом. Размахивая сучковатым своим батожком, Богдан вразвалку, лихо играя плечами и удало посматривая по сторонам, шел по улице. В первый раз за всю его жизнь лежал у него за голенищем нож, и было непонятно чего стыдно и даже страшно. Казалось — выбеги сейчас из-за угла Степка, едва ли Богдан выхватил бы нож и даже едва ли поднял бы палку. Деревня после вчерашней гулянки еще спала. Выйдет разве за ворота посмотреть погоду какой старик. Тупо стоит, распахнув тулуп и подставив солнцу сивую бороду. Снег тает у него подле валенок, валенки темнеют, и не видит ничего старик. Даже собаки не лаяли, словно и они страдали с похмелья. Казалось Богдану — разбежалась, перепряталась по сугробам деревня, словно вспорол он своим ножом мешок с пшеницей. Так Богдан дошел до выгона, там уж кое-где посерел снег: словно протерлась материя и выступила подкладка. Ночью, надо думать, выпадала пушная кидь — самый крупный снег, и обледенелая дорога казалась исковерканной долотом. И опять мысли, тяжелее горы, упали на него. Один он стоял у поля. Повернуть же в деревню было страшно, до поту. Вправо от выгона белело кладбище, и пришло ему в голову, как трудно будет долбить ломами могилу, а копать ему мо-

гилу будут парни-сверстники (есть такой обычай: зарезанному приятелю сверстники копают могилу, чтобы подольше поговорить о покойнике). Степка первым пойдет по деревне... И тогда он подумал: «Надо обрат итти. Говорят уж, поди — от Степкина ножа утек». И все ж не было сил обернуться к родным избам. Здесь он припомнил, что в Данилове — соседней деревне, верстах в пяти — сегодня престол и вечерки. В Данилове так же, как и в родной его деревне, резались и пили. Но кто знает, если зарежут в Данилове, может, тот же Степка пойдет отплачивать за Богдана и падает от ножа или кола подле даниловской околицы.

Богдан выпустил чуб из-под шапки, подтянул выше голенища, страх будто прошел, и Богдан направился по обширной снеговине в Данилово.

С легким хрустом скользили его каблуки по ледку дороги. Хруст льда был рыхлый, весенний, и рыхлые шелковисто-белые облака были в огромном небе. Конец снеговины был занят легким синеватым леском. Дорога, словно утомившись прямо бежать по снеговине, начинала вилять и в лесок брела, как пьяная. Лесок-ельничек был весь в снегу, в искрах, в фарфоровом блеске, поднимался он на холм бодрый, веселый, словно бы с пеньем. За холмом поляна, а с краю ее — Данилово. Перед самым леском текла речка, занесенная пухлым снегом, убродная, словно стянула она со всей равнины на себя снега, будто нужно ей было прятать что-то драгоценное. Ничего-то в ней не водилось, даже пискари, и те давно передохли, запутавшись и устав жить в неимоверно густых лопухах и водорослях. Через речушку лежал мостик, тоже занесенный снегом; торчали от него два столбика, а направо от этих столбиков виднелся сруб, — года два назад хотел даниловский кооператив устроить здесь мельницу, да так, неизвестно почему, ничего не получилось. Летом в этот сруб парни водили девок, водил и Богдан; раз даже, по торопливости, не запалил спичку и свалил девку

на ребячью шалость. Парни позже хохотали над девкой целый месяц: и кожура, мол, и нутро перепорчены.

И вдруг влево от столбиков, в двух саженях, не более, увидал Богдан громадную, как большой двор, полынью.

Не меньше как в неделю раз ездил Богдан по этой дороге за сеном на луга, а заметил эту полынью впервые. Вода была неподвижна, смарагдово-зеленая по краям, а снег, окружавший полынью, казался необычайно рыхлым, злым. Да и полынья не казалась радостной, будто речушка вынесла в ней всю свою злобу, накопленную в долгие годы.

А по ту сторону полыньи увидал Богдан большого сизоголового селезня.

Кому дано знать, как он попал, когда он попал на эту полынью! То ли затосковал он в солнечной стране по родным лугам? То ли на самом деле должна через несколько дней хлынуть весна? И селезень, словно смеясь над смущенно остановившимся человеком, весело поныривая, плыл вдоль полыньи. И казалось, когда он выныривал,—вода расцветала. Селезень крякнул, ударил крылом и подплыл ближе к человеку. И то, что он ударил крылом, словно по сердцу, непередаваемо разозлило Богдана. Он отпрыгнул, схватил глызу и метнул ею в селезня. Птица нырнула, шесть темно-серебристых кругов, похожих на круглые перья, пошли от нее. И Богдан уныло подумал — не завести, видно, ему никогда дробовика. Он быстро начал сбирать глызки, и ему было стыдно: большой парень, ухобака, а, словно мальчишка, гоняется за селезнем. Но тут ему захотелось принести на вечерку в Данилово дикого селезня.

— Замучаю, курва! — закричал он, продолжая сбирать глызки.

Селезень крякал, тревожно смотрел вверх. Рыхлые облака, словно пряди седых волос на молодом лице, продолжали скользить по небу. Желтый клюв селезня, подобный уцелевшему осеннему лепестку, тонул в воде. Богдан, вес

потный, увязая в снегу по пояс, бегал с одного берега на другой и все не мог отыскать такого места, с которого он мог бы попасть в селезня. Подле кустика он ткнулся в настыль: промерзшую толстую кору снега. Богдан наломал куски этой настыли и долго кидал их в прорубь. Он скоро устал — и от злости на такую глупую охоту и от мысли, что селезень может улететь. А селезень продолжал все нырять и нырять, и казалось — с каждым разом он остается в воде все дольше и дольше. И вот когда он нырнул особенно надолго, Богдан, внимательно рассматривавший полынью и гадавший, где бы мог быть вынырнувший селезень, как-то невзначай взглянул на сугробы. По сугробам переметывался с тревожным шипеньем снег. Богдан поднял голову, и в небо, словно с сугробов, перекинулась волокушка. От солнца в мятущихся снегах осталось только пятно огненно-красной киновари. Края земли походили на завороты сугроба. Деревни не было видно.

Тогда Богдан поспешно отыскал свою палку, переломил ее, долго целился и так кинул ее, что палка завизжала. Селезень взлетнул на сажень. Богдану показалось, что он попал ему в крыло. Да и селезень теперь не нырял, а, чуть волоча крыло, плыл вдоль снежного берега. В воду с надутых, как капризные губы, сугробов сыпался в воду снег. Стало тускло, как в сумерки. Очень ясно обозначились талые места дороги, и тут только Богдан понял, что, даже убив селезня, он не смог бы достать его из полыньи. Разве лесиной, но едва ли подыщешь такую тонкую лесину, которая могла бы достать до середины полыньи. Он почувствовал иней на шее, замотал крепче шарф, перетянул опояску, вдруг стало почему-то обидно, что на полушубке недостает трех пуговиц. И опять с непонятным страхом подумал о родной деревне, о Степке, опять тяжелые, как горы, мысли подступили к сердцу... От ножа ноге стало холодно, он достал нож и сунул его за пазуху. Посмотрел на полынью, — селезня за

снегом не было видно. Богдан постоял, подумал и все-таки пошел в Данилово.

А ветер все усиливался, и не успел Богдан отойти десяти шагов от столбиков моста, как снег — мелкий, пылистый «блеска» — так ударил ему в лицо, что словно забил горло. Богдан долго протирал глаза и, протирая, не заметил, как очутился в уброде. Потерялась лиловая тень мельничного сруба, да и ельник куда-то исчез — и дороги под собой не нашел Богдан. И когда он, поддерживая для чего-то шарф на шее, кинулся вперед, — вдруг темная вода полыньи открылась у его ног. Снег медленно уходил в воду, так медленно, что казалось — прежде чем уйти, он скользит поверху, отыскивая нору, куда бы мог скрыться от раз'яренного ветра, от бесконечных однообразных полей, и, уходя, не верит, что можно скрыться. Богдан, неотступно глядя на полынью, медленно шел вдоль берега и вскоре наткнулся опять на столбики. Он яростно сбил с одного из них снег. Он потоптался перед столбиком, даже как-то неумело припляснул, — сразу стало веселей, и он вновь направился в Данилово.

И вновь, не успев отойти десятка шагов, сбился с ледка дороги (хотя вначале, прежде чем ступить, нащупывал впереди себя ледок, но ему быстро надоело нащупывать, сразу поверилось в удачу) и опять попал в уброд, глубокий теперь почти по пояс. Итти вперед по уброду было до обиды страшно, — каждый шаг, казалось, обваливался и катился в полынью. Мчалась округ него шипящая светлая темнота. Богдан остановился. «Господи!» — прокричал он приказывающе, повел палкой, и вправо палка его наткнулась на бревна мельничного сруба. Он хотел было войти туда, но вдруг зачем-то вспомнилось, как воняло в срубе, когда он водил туда девок, и как вонь эту замечали только тогда, когда шли обратно. И стало ему до слез обидно на Степку, пригнавшего Богдана на такую обидную смерть к срубу. «Гос-

поди», — опять приказал он. А поносуха все сильнее и сильнее крутила снега, словно ситец притискивая к его телу кожух. «На дорогу от сруба надо брать влево», — припомнил Богдан. А на дороге ветер был еще сильнее, поднялся, видно, последний зимний занос. Столбик вновь был занесен снегом, полынья исчезла: «Тоже, должно быть, занесло», — подумал Богдан, и ему стало легче. Он присел на столбик, скрутил папиросу и, когда между колен в полушубке зажигал спичку, ветер дернул, вырвал кисет, обидно помахал им в воздухе и швырнул его к полынье, в снега. Богдану стало так тяжело, что он даже не обрадовался тому — на таком сильном ветру, закуривая папиросу, не испортил ни одной спички. «Затянулся напоследки», — подумал он и здесь вспомнил опять Степку, свою трусость, и селезень в проруби чем-то напомнил ему венчик, что надевают на лоб покойнику. Он уже и сам понимал, что не дойти ему теперь ни до Данилова, ни до дому, сблудит, сдохнет, — и все-таки пошел в Данилово. И верно — сразу же он спутался, упал, сразу очутился в убродах, и вот снова перед ним — полынья. Она лежала такая же неподвижная и темная, как и раньше, так же неподвижно били в ней подземные родники, и так же нехотя принимала она в себя снега. Не колышась, плыла она спокойно среди этих взбесившихся снегов, плыла настолько неподвижно, что даже не отражала ничего, как глаз мертвого.

Сердце у Богдана вдруг словно прокололи насквозь, он даже от такой боли перекрестился. И затем сразу понашло на него такое чувство, словно он засыпал после большого усталого дня. Вода на мгновение просветлела — и он неистово ринулся прочь. Но сразу же до истомы стало ясно: куда бы он ни кидался, как бы ни бежал по сугробам, — везде под ногами обрушивались глыбы рыхлого снега, и вода открывалась ему. Попробовал было он закричать, — сразу от сильного ветра заныли зубы, и стало чего-то

стыдно. Шарф стал влажный, и скоро обмокрела спина. «Добро — у сапог узкие голенища, а то бы снегу-то сколько набилось», — подумал он, не замечая, что и узкие голенища были наполнены снегом и теплые капли пробирались вдоль икр.

Он устал думать о дороге, — в голове у него остались только какие-то коротенькие мысли о столбиках. Ему казалось — ухватись он за столбик, и он не скатится в воду. Виски были словно зажжены, а чуб лез на глаза, холодный и чужой. Несколько раз отскакивая от полыньи, наткнулся он, наконец, на столбики, упал и прижался лбом к обледенелому дереву, и на мгновенье вернулась храбрость, он полез было в карман за табаком. Скверно и долго выругался. Брань шла легче, чем крик, и он длинными солдатскими матюками долго звал на помощь. Показалось, что чем-то и кому-то он отплатил за свои муки. А веселый и свистоголосый ветер все так же несся над снеговиной, все так же блестящей пылью звенел на обледеневшей коре-чире, колол ресницы. Богдан отполз немного от столбика, от дороги: он ясно заслышал понуканье ямщика, храп утомленной лошади, ему показалось, что его могут растоптать, но тут лошади словно свернули в сторону. Он даже разглядел, как блеснули длинные оглобли, хотя и знал, что иной дороги, кроме той, на которой он лежит, — нету. Но он отполз еще два шага.

И опять темное жерло полыньи всплыло перед ним. Обледенелый скат, спускающийся в воду, как бы дрогнул, в плечах Богдана словно что-то хрустнуло, и он торопливо поджал под себя ноги. И было время,—каблук уперся в какую-то ледышку, не коряжку, а в полуаршине далее лежала вода, пахнущая почему-то тиной. Эта пахнущая тиной вода словно всосала все его мысли. Он долго, сгорбившись, сидел и неотступно смотрел в воду. А затем, как родник, со дна его души ударила в тело и смятенно пронеслась мысль, что сейчас каблук соскользнет с коряжки, кости и мясо — все

то, из чего составлен Богдан, покатится по льду, ветер, дующий в плечи, еще сильнее ударит в полы полушубка, и шесть огромных кругов, похожих на круглые перья, захлопнут его жизнь. Он стал тереть ноги, а пальцы без толку путались, и казалось — трет он сапог о сапог, как безрукий чеботарь. И когда подумал — «безрукий», все как-то вдруг рухнуло в его голове: дорога, ожидание саней, удаль его, и он хорошо понял, словно пропели ему конец.

Тогда вправо, совсем против столбиков, подле большой, нависшей над водой глыбы снега (с глыбы тусклой струйкой сыпался в воду снег) Богдан увидел селезня. Птица, уткнув под крыло голову, тихо покачивалась на воде. Сверху она была вся засыпана снегом и как бы походила на свою белую тень. Богдан изумленно потрогал веки — снег словно посинел.

— Цыпа... цыпа... — позвал он вдруг и сам удивился своему писклявому голосу. Не успел он позвать птицу и трех раз, как селезень встрепенулся, снег с него скатился, и он медленно поплыл прочь. Богдану стало обидно, зло, он даже почувствовал жар в веках, — так напряженно вглядывался он в крутящуюся синеву. А более всего ему было обидно то, что он мог вспомнить сразу, как кличут цыплят, а как кличут утят — он не мог вспомнить. Селезень давно уже уплыл в снега, а Богдан все покрикивал: «Цыпа, цыпа», и когда совсем обмерзли десны и ему пришлось замолчать, он вдруг почувствовал, что катиться в полынью не так страшно. Он убрал с коряжки затекшую ногу. И оказалось — скат не так уж скользок. Опять усилилась метель, и вскоре он начал думать, что селезень почудился ему и что нет такого селезня совсем, а было ему виденье перед смертью.

Снег пожелтел на минуту, — надо думать, закатывалось солнце. А потом зашипело еще сильнее; казалось, снег был теперь с мелкими градинками, — очень больно колол за ушми. Долго так сидел Богдан. Снегу намело вровень с плеча-

ми, перекатывался он по груди. Спине стало теплее, и Богдану не хотелось вставать, уходить. Он всунул пальцы в рукава, надвинул шапку на уши и полузакрыл глаза. И тогда ему показалось, что коряжка выскакивает из-под его ног. Он шевельнул ступней; что-то похожее на льдину качнулось подле его сапога. Он наклонился — было уже совсем темно — и неподвижной холодной рукой он скорее почувствовал, чем ощупал перья селезня. Птица отошла от его руки и поползла, скользнула вдоль сапога к сгибу ноги, — видно, ей хотелось выбрать где теплее. И Богдан вспомнил, как раньше сизое перо селезня чем-то напомнило ему венчик на лбу покойника. И огромная злость потрясла Богдана, он сунул руку за пазуху к ножу, но тут грудь его наполнилась каким-то кипящим теплом, тепло это хлынуло по рукам. В голенищах снег уже не таял, и не было ощущения, что портянки с ног разматывают по ниточке. Сугроб за его спиной почудился шире, тверже и чем-то напомнил баню. Небывалая доброта овладела всем Богданом.

— Ишь, чорт, — сказал он шопотом и заботливо погладил селезня по крылу. Затем рука его спустилась к животу; живот у селезня был мокрый. Тогда только Богдан заметил, что селезень мелко дрожит и шея его бессильно падает на тыл Богдановой руки. — Полезай дальше, — прошептал Богдан и долго не убирал руки, пока селезень не согрелся и не взял голову под крыло.

Так человек и птица просидели всю ночь у полыньи. Вначале, когда Богдан перебирал затекающими ногами, селезень шарахался, а потом привык и только легонько крякал, и это смешило Богдана. Под конец даже Богдан решил, что селезень выведен при птичнике из яиц дикой утки, может быть, даже и улетел из птичника. Под утро Богдан вздремнул и, засыпая, подумал уверенно и весело: «Не замерзну». И он, точно, не замерз. К утру из-за лесочка, из-за холма, словно он там спал всю ночь, хлынул в снего-

вину теплый весенний ветер. Ветер тронул Богдановы ресницы. Богдан вскочил и начал оттирать снегом руки. Три пальца не действовали, посинели слегка и стали необычно гладки. «Придется обрубить, — подумал он с непонятной радостью, — и на ногах, поди, придется обрубить». И все с той же радостью разглядел он, что больше, выше всего снег на дороге, да и всегда весной, если идет крупный снег, больше всего наметает его на дорогу. Что ж тут позорного, если и заблудился. Тихий плеск послышался рядом — это селезень нырнул в полынью. Но он вскоре вынырнул, точно ему жалко было оставлять тепло и солнце, взглянул изумленно на человека и с громким криком уверенно и быстро поднялся вверх, прошелестел над леском и понесся на холм, навстречу весеннему ветру.

— Ишь, чорт, — сказал любовно, глядя ему вслед, Богдан. Отмороженные пальцы начинали ныть, но Богдану было легко переносить эту боль. Идя вдоль каймы занесенной снегом дороги, он думал уверенно, что если уж теперь резаться, так конец-то теперь Степке будет, а не ему, Богдану. И было непонятно, как он мог бояться своего села, — оно лежало в снегах такое теплое, пахнущее хлебным дымом, — как он мог думать о смерти, бежать куда-то, кого-то зря, точно свою смерть, бить... Он не знал еще, что будет делать теперь, но веселая уверенность наполняла его все крепче и крепче. Так, улыбаясь неумелой улыбкой, прошел он вдоль села, стукнул в окно и тихо крикнул:

— Мамка, неси топор да рукотерку!

Положил руку на бревно, на котором кололи дрова, отрубил три пальца и, перетягивая полотенцем руку, сказал ласково матери:

— Теперь если со Степкой резаться, — обязательно ему конец, мамка.

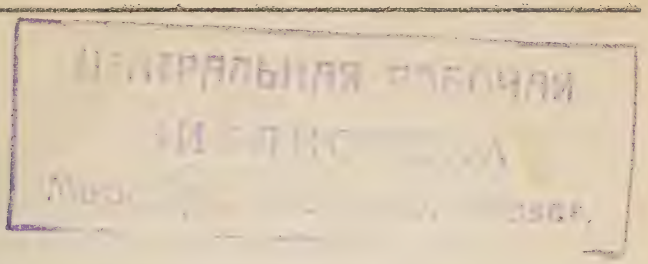
А матери было страшно слышать его ласковый голос, тошнота подступила к сердцу от снега, залитого кровью,

слезы текли у ней из глаз, а вытереть она их боялась почему-то. И так же ласково, в голос сыну, она спросила:

— Ливорвер, что ли, купил?

И опять улыбаясь неумелой улыбкой, ответил ей ласково Богдан:

— А то как же... Не со слова же быть мне такому храброму.



НОЧЬ

Любовь да тоска на крови стоят.

★

У Афоньки Петрова умер старший брат Филипп. Умер в первый день своей женитьбы, на свадебной кровати. А к свадьбе Филипп готовился долго, тесть его был состоятельным мельником, зятя брал к себе в дом и на хозяйство требовал много денег. Филипп мотался по волости, но волость была бедная, деньги не шли, и к тому же Глафира, его невеста, была близко — у самого сердца, — и тогда он ушел в город. Жил он там год с лишним, а когда вернулся, то ничего не мог рассказать, кроме того, что вывески там черные, с золотыми буквами, — может быть, потому, что у Глафиры под соломенными волосами цвели ржаные глаза. Пожалуй, так. Оттого и в те немногие часы, что приходились ему на сон в городе, его ноющее тело видело эти ржаные глаза. И вот накануне свадьбы добро свое он привез к тестю на собственной тройке с золоченой дугой и с бубенцами. Народ сбежался смотреть на Филиппа, мельник обнял его на крыльце, растроганный, со слезами на огромных, близко поставленных глазах — и немного пьяный. Позже приехали на таратайке Филипповы старики: Александр Ильич и Марья Егоровна, отже пьяные и разговорчивые; приехал и Афонька — младший сын конопатый, с растерянной походкой, в синем новом картузе и толстых пуховых пер-

чатках. Все они сидели за столом обнявшись и неустанно хвастались. Старики Петровы говорили, что сын их Филипп упрямый и своего места в жизни добьется, а мельник хвастался своей красавицей дочерью и гулко на всю пятистенную избу кричал, что у Глафиры глаза — что твой колодец, и что в молодости и он своими глазами десятки баб завораживал. А глаза у Глафиры действительно были как в ружье смертное дуплище, и она не подымала их на жениха. Филипп же сидел рядом, прямой, крепкий и немного бледный, но спокойный, и только в сердце у него словно летала пчела, и редко-редко чувствовалась игольчатая боль.

Запрягли опять тройку и поехали в совет, хотя ходу было до совета одна улица. Записались быстро, и председатель, тоже веселый и без шапки даже, сел с мельником рядом, и тогда весь поезд направился в церковь. А было начало весны, —ленты, которыми были убраны лошади, сыро мотались под ветром, через гривы коней ямщику виднелось ясное небо, — и ямщик прогнал тройку по всем улицам села. Воробьи, выбиравшие из завалинок чистые соломинки, любовались на мчащийся поезд, мальчишки гнались за синими комьями грязи, летящими, как облака, из-под копыт и из-под колес. Мальчишки быстро устали, лица их стали напряженными, но они не могли отстать от поезда, от гремящих весенних бубенцов — и от пьяных лошадиных и человеческих глаз.

Свадьба, вернувшись на мельницу, опять стала пить, кричать песни и хвастаться. Председатель орал, что, если б ему волю, он бы перекричал любого попа, — и действительно, голос у него был необычайно дикий и пронзительный. Филипп сидел так же прямо и строго, он только под скатертью схватил невесту за руку и мял руку так, словно хотел выжать всю свою силу, накопленную за полтора года,—и не умел. Глафире было больно и приятно, рука немела, и немота переходила на сердце—и никак она не могла поднять ржаных

глаз. Затем молодых проводили до кровати, и мельник долго и неумело плясал перед дочерью, неустанно подмигивая огромными и близко поставленными глазами. Гости совсем было расходились, но как-то замешкались у стола, и вдруг опять начали пить и плясать. Уснувший было гармонист ударил по ладам, а после вышло и солнце и тоже ударило в пальцы гармониста, и гости свалились кто куда мог. Матушка Филиппа, Марья Егоровна, пила мало, но ей было веселей и радостней всех, и особенно она была довольна, когда гости все свалились; тогда она, крестясь, обошла всех и накрыла шубами кого могла. Афонька уснул во дворе, на телеге: она накрыла его двумя тулупами и еще пологом и с радостью подумала, что старость ее будет добрая и легкая и что младшему сыну — а был он пожиже Филиппа и не такой строгий — невесту надо выбрать веселей и свадьбу устроить еще лучше Филипповой, чтобы любовь была крепче. Потом Марья Егоровна вернулась в избу, но спать ей не хотелось, — и вздумала она подоить коров. Она взяла подойник и вышла было в сени, но опять радость охватила ее, и она вернулась. Тихо, дабы не греметь, поставила она подойник среди об'едков и разбитых тарелок на полу, подошла к дверям горницы, где спали молодые, и медленно перекрестила двери — и прослезилась и, прослезившись, опять перекрестила. Глухой стон послышался в это время за дверьми, и Марья Егоровна таким же голосом, каким она увещевала рожавших коров, проговорила:

— Ничего, милая, ничего... потерпи, — и медленно, подхватив подойник, пошла. А на крыльце уже услышала она дикий вопль, и подойник задребезжал по ступенькам.

Выбежала в одной исподней растрепанная Глафира, упала старухе на плечо.

— Плоха, с Филиппом-то плоха! — крикнула она.

Старуха оглядела ее всю — и ласково прикрыла ея бедра своей шалью и затем ласково же сказала:

— Ничего, милая, пройдет, это у ево от заботы.

Она взяла ковш воды, перекрестила его и пошла в горницу. А Филипп, такой же прямой и строгий, как всегда, лежал на кровати, и только лицо у него было такое, словно он удивился, что за все его муки и терпение он смог получить все-таки свою награду.

А после его хоронили, и с кладбища уже шли другими. Началось с того, что мельнику показалось — могила будто не так глубока, как нужно, что его и здесь хотят надуть. Он слазил и сам смерил могилу. А идя с кладбища по самым грязным местам, бормотал:

— Девку-то как охаял. Теперь по всей волости смех пойдет, разломана жись у девки...

А старику Петрову, шедшему рядом с ним, хотелось утешить его, и он не знал как — и стыдно было врать, что Филипп не дотронулся до жены.

— Ноне все быстро заживает, — сказал он — и сам испугался своих слов.

А по лицу Глафиры нельзя было понять, что она думает и даже знает ли, отчего умер Филипп, и только один Афонька, нечаянно встретивший ее в сенях, когда в избу вносили крышку гроба, увидал ее глаза и матовый влажный рот. Она остановилась у косяка и так провела рукой по глазам и рту, словно замыкала в себе на всю жизнь ту радость, которую получила в одну ночь. Холодная роса упала на сердце Афоньки, и неожиданно, вбежав в избу, он закричал со слезливой завистью:

— Лучша б мне подохнуть!

Марья Егоровна посмотрела на него удивленно и раздельно, будто на весь мир, сказала:

— О, господи, жисть-то как переклубилась. И ты туда же.

На поминках, за блинами, отец Филиппа повел разговор, что тройку-то надо вернуть. Тогда мельник, как будто ожидавший такого разговора, закричал и даже ложкой стукнул:

— Что ж, позор на мою дочь трех лошадей не стоит?!. На всю волость смех теперь пойдет, — колдун, мол, мельник и дочь колдунья. Кто ее теперь возьмет? Вековушей сдохнет, а то солдаты измусолят...

И неожиданно Глафира тряхнула головой и, обведя всех своими огромными ржаными, так же, как у отца, близко поставленными глазами, протяжно сказала:

— Видно, от бога так мне... — и не докончила, что ей суждено, и никто ее не переспросил.

Все же старик Петров, подпив, осмелел и начал торговаться и под конец выторговал у мельника одну лошадь из тройки, с упряжью, а деньги, внесенные Филиппом, мельник наотрез отказался вернуть. Выторгованную лошадь привязали к оглобле, она бочилась, не шла, а глаза у нее были такие все веселые, как и в день свадьбы.

В эти несколько дней в поле многое изменилось. На пригорках выступила зелень, земля пахла травой, и только в оврагах кое-где лежал конопатый, изгрызанный ветрами снег. Чуть заметный туман стоял над оврагами.

Сразу же старик Петров заговорил о посевах, что весна, надо думать, будет теплая. Слова у него были такие же, как и в прошлую весну, но теперь Афонька им не верил, и ему тяжело было их слушать.

В двух верстах от деревни дорога разветвлялась, — одна, поуже, шла в родное Афонькино село, другая, пошире и погрязней, вела к станции. Несколько подвод, груженных бревнами, уныло брели, лошади увязали по животы, и тощий мужичонка, необыкновенно искусно свистя кнутом, кружился подле обоза. Рыжая собака визжала — кто знает на что.

Афонька посмотрел на них, сердце его защемило еще больше вспомнилась опять Филиппова смерть и нездешней наполненные радостью и удовлетворением глаза Глафиры. Он спрыгнул с таратайки и сказал, что приедет домой по чугунке. И хотя до родного села железной дорогой было

верст сорок, а проселками — все шестьдесят, а то и больше, — всегда удивлялись, если кто ехал чугункой. Удивился и теперь старик Петров, но ничего не сказал, а только покрепче натянул вожжи и бочившего Филиппова коня вытянул хворостиной.

Афонька так спешил на станцию, словно там его ждал поезд, а прибежал — и вдруг оказалось, что и спешить-то не стоило, да и, пожалуй, не стоило ехать чугункой. На станции курили мужики, привезшие бревна; два солдата, возвращавшиеся с побывки в казарму, читали вслух «Крестьянскую Газету» и непрестанно прерывали чтение разными деревенскими новостями. Афоньку в солдаты не брали, грудью как-то не выходил, хотя с лица и был ловок — рот лишь был очень пухлый и длинный. Афонька позавидовал веселым солдатам, попросил у них кусок газеты, но разговориться не мог. Окна, грязные и холодные, еле пропускали свет — и скоро стало смеркаться; до поезда оставалось четыре часа. Сторож, гремя зажатыми в одной руке ключами, стал подметать пол.

— Подбери ноги-то! — неожиданно сердито закричал он Афоньке.

И тогда Афонька, махая газетой, тоже закричал и потребовал составления протокола. Сначала и мужики и красноармейцы поглядели на него с интересом: думали — или пьяный или будет драться, а потом отвернулись как-то обидно и заговорили о своем. Ссора несколько ободрила его, но вскоре стало опять скучно, и начало казаться, что сторож, стоявший у печки в грязном тулупе и с грязной метлой в руке, выдумывает такую каверзу, которая позволит ему на всю жизнь опозорить Афоньку. И когда сторож вдруг во все горло, так, что газета выпала из рук красноармейца, заорал, что поезд опаздывает на три часа, — Афоньке стало непереносно муторно, и он вышел, сильно прихлопнув громадную дверь. Дул сырой ветер, мелкими ка-

плями неумелого дождя брызгая в косой фонарь подле станционного колокола. Особенная, пахнущая керосином станционная скользящая слизь блестела под ногами, и словно отражалась в ней вся мерзость сегодняшнего дня, — весь этот хриплый шум дождя, простуженный храп железа на крыше, чахоточный свист проволок. Сразу же за станцией, по обе стороны полотна, начинался лес — сосновый, высокий, но теперь тоже какой-то чужой, без гула и запаха, словно укутанный тиной. Афонька повернул обратно. И тогда-то к станции, медленно и со скрипом, подкатил товарный поезд. Впереди шли теплушки, а в конце темнели широким треугольником две платформы, груженные каменным углем. И то, что уголь везли, как песок, не прикрывая и без стенок,—очень удивило Афоньку. Тот же ругательный сторож, теперь уже в башлыке и рукавицах, прошел мимо всех теплушек, освещая все площадки фонарем. Платформы с углем он не стал осматривать. Афонька обежал кругом паровоза, лысый машинист быстро тянул папироску за папироской, словно воровал огонь. Афонька, ухватившись за плаху, поставленную на ребро и служившую стенкой, прыгнул на уголь. Папироска машиниста, до этого мелькавшая у него в глазах, вдруг потухла. Он вспомнил, что, что на нем новая стежоная, крытая бобриком серая тужурка, а уголь пачкается. Поезд качнул его плечи вперед. Уголь заскрипел под плахой, за которую он держался. Оказалось, что сидеть очень неловко, доска шаталась, тело скатывалось, а уголь, мелкий и сырой, лез в рукава, за голенища, в носу щекотало, и никак не удавалось нащупать большую глыбу угля, чтобы ухватиться. Вскоре уголь стал подкатываться под него, и казалось, что Афонька будет сидеть сейчас выше плахи, платформа как-нибудь шатнется по-особому... Афонька со всей силой ухватился за плаху.

Золотая кукла искр прыгала в темном небе, — выпрыгнет и погаснет. Колеса с грохотом и шипом гнались за куклой,

откосы отвечали свистом вдруг проснувшихся сосен, и когда однажды Афонька наклонился, — рельсы блеснули, как рога. А доска шаталась все больше и больше, холодела и скользила из рук. Попробовал было Афонька обнять ногами доску, но она совсем скренилась, и тогда он, не помня себя, рукой и ногой начал разгребать уголь. Попалась острая, чем-то напоминавшая льдину, глыба угля. Но здесь золотую куклу искр остановил раз'езд — и начальник раз'езда попросил у машиниста папироску. Афонька хотел было спрыгнуть, но вспомнил свою выпачканную углем тужурку — засмеют, и здесь ему пришло в голову, что наверху, на угле ему будет легче держаться. Он полез. Машинист кинул докуренную папироску, колеса подхватили ее, буфера им одобрительно подлязгнули, и теплушки опять понеслись вперед.

Вскоре Афонька разглядел, что на угле, в аршине от него, сидит еще человек. Когда Афонька, рассматривая его, наклонился, человек сказал что-то. Афонька не разобрал — что, но понял — какую-то тоскливую жалобу. Афонька, прикрывая ладонью, зажег спичку и поднес ее к лицу человечка. Он увидел большие добрые глаза, костлявое старушечье лицо и боязливо сжатый рот. Афонька с веселой тоской крикнул:

— Бабка, куда едешь?

И от его крика старуха боязливо оправила за плечьми котомку. Она сидела, охватив валенками большой кусок угля. Места наверху было мало, к тому же под тяжестью двух человек начал сыпаться мелкий уголь, и скоро Афоньке пришлось притиснуться плечом к старухе. Она легонько, варежкой, должно быть, тронула его за бок, а затем осмелела и тронула сильней. Афонька хотел было выбраниться, но в это время свистнул паровоз, а после свистка браниться не хотелось, да и старуха затихла, а вскоре котомкой своей легонько прислонилась к Афоньке. Котомка была жесткая, как будто деревянная, наверное, с сухарями, — и Афонька вспомнил, что, словно бы, на поминках брата он видал эту

старуху. И снова и зависть и непонятное томление охватили его — и он спросил:

— Много на Филипповых поминках-то наскребла? — Опять старуха пробурчала что-то непонятное и жалобное.

Вскоре спина у Афоньки заныла, сидеть вдвоем было очень неудобно, и когда поезд задержался на раз'езде, Афонька подумал было перебежать на другую платформу, но ведь и там могли сидеть люди — в темноте соседняя платформа походила на развороченный стог сена. К тому же с фонарями прошли мимо кондуктора, разговаривавшие о непромокаемых плащах. Один из них нехотя сказал что-то о сыплющемся с платформы угле, и тогда из тьмы вдруг раздался злой и басистый голос: «Складывают тоже, лодыри!» В голосе было такое презрение и такая власть, что давно и кондуктора прошли, давно уже двинулся поезд, — Афонька же все вздрагивал и недовольно сопел.

— Тебе не здесь слазить, бабка? — спросил он шопотом.

Старуха шатнулась вся, и виски его вдруг похолодели. Так с похолодевшими и тяжелыми висками он сидел долго, пока не понял, что поед идет очень быстро, что все время он думал о старухе. «Вот, — думал Афонька, — если толкнуть ее слегка в спину, в ее жесткий горб, а затем поддать еще в шею, — старуха метнется под откос, и ее место освободится. А то может и она поддать». Но он хорошо понимал, что старуха его не тронет, но все же думать об этом было приятно, и не было мыслей о гордой Филипповой смерти. И старуха, словно понимая его, зашевелилась, и рука ее в легкой варежке тихо дотронулась до локтя Афоньки. Афонька оттолкнул ее, и горб ее затрясся подле его плеча. Засосало сердце — и он стал считать до десяти. Но стук колес перебил его счет и томление, и тут сосущая сердце злоба нахлынула на него. Синяя широкая туча вдруг обозначилась в небе. Он снова поймал свой ненужный счет. «Шесть, семь», — пробормотал он и стал шарить ногой та-

кое место, чтоб оттуда упершись, можно было возможно ловче ударить старуху. На мгновение стук колес опять раздавил его мысли, но вскоре шумящая теплота злости опять убрала этот стук. Нога его уже было вытянулась, кулак сжался, но тут он почувствовал, что ноги его, слегка замерзшие у колен, были охвачены варежками — и горб старухи очутился у его груди. Старуха, взвизгивая, терлась лицом о бобриковую его тужурку.

— Бабка, ты что ж, спятила, что ли?.. — сказал он, и голос его был такой, что он сам испугался. Он вспомнил, что тужурка будет выпачкана, и стал оттягивать руки старухи, но они с бешеной силой охватывали его, и одна из них зацепилась за карман, и ее-то трудней всего было оторвать, к тому же (стороной) подумалось, что старуха испортит карман. И он начал ругаться, и тогда злость скоро схлынула с него; но старуха все не выпускала кармана, и теперь он уже не стал думать о том, почему нужно свалить под откос старуху, он стал думать — как бы ее свалить, чтоб вместе с ней не упасть самому. И еще уверенность, что, если он выпустит старуху, она его столкнет, — эта уверенность охватывала его все более и более. А старуха становилась все ловчее и ловчее, и уже руки ее ворочали теперь его тело, как квашню. И тут-то он вспомнил, что последние ночи он почти не спал — все утешал мать, да и за отцом нужно было следить, и самого умучали непонятные мысли. И вчера и сегодня он почти не ел, — у него закружилась голова, ослабли ноги, и он упал всем телом на старуху. Теперь она вся очутилась под ним, он лежал грудью на ее горбу, но все же ее рука попрежнему крепко держала его карман. И внезапно он припомнил одну деревенскую девку Марфу, дикое желание накалило его живот (позже только он догадался, почему пришло это желание: отдаваясь ему впервые, девка так же рвала его карман), и то, что желание могли притти на эту старуху, — разозлило его до слез.

— Пусти руку, карга! — закричал он.

— Не пущу, — вдруг хрипло и раздельно проговорила старуха.

И тогда с матерками — в бога и мать — стал он плевать ей на горб и на шаль, и чем больше он плевался, тем харчки его растягивались все больше и больше — словно полз из его рта сплошной сладковато-горький ревень. Наконец, рукам стало больно, шарф сполз на рот, да и дышать было тяжело. Но тут мелькнул семафор, поезд подошел к станции, тускло заскрипели двери. Старуха опустила руки и скатилась вниз. Афонька растер тело, сказал что-то очень скабрезное и обидное про старуху, спрыгнул. Это была та станция, куда он должен был доехать, — до его села оставалось еще верст пять. У станционного фонаря он осмотрел тужурку; уголь не так выпачкал ее, как он предполагал, — он легко отчистил ее снегом. Афонька, чтобы не встретиться со старухой, не зашел на станцию, а, обойдя здание кругом, направился в свое село.

На другой день было воскресенье — и опять поминки. Собрались родственники, долго жалели Филиппа и говорили, что все это порча от войны, что на войне у всех солдат снарядами сердца отбиты. И никто ни слова не сказал о Глафире, а когда все ушли, отец снял с деревянного крючка зачем-то узду и, держа ее в руке, как подарок, сказал Афоньке:

— Как доехал-то?

— Хорошо доехал, — ответил Афонька раздраженно.

По голосу отца можно было понять, что он придумал какую-то ловкую мысль и что, ответив раздраженно, Афонька тем самым согласился с отцом. Так оно и было. Отец хлопнул его уздой по плечу и сказал:

— Вот это я и говорю. Можно и без суда обойтись. Скажем, што Филипп-то с бабой вовсе и не спал, не тронувши ее, значит. Законы нонче, что редька, — всякий за

хвост держит. Стал, значит, Филипп раздеваться — ну, тут с ним и случилось. Ее ведь раздетой-то никто, окромя нашей старухи, и не видал... выходит, какая она ему жена?.. Однако по волости может пойти — ведьма и всякие разговоры... Позору сколь мельнику. Вот я и говорю, возьмет он тебя, Афонька, в зятья. Старику жить недолго, все на ноги жалуется, а домище-то пятистенный, да и к нему мельница о скольки поставах...

— Уж и мельница, — льстиво сказала мать. Ей казалось, что, может, наладится прежняя жизнь, и если Афонька уйдет к Глафире, то Филипп словно бы вернется. Афонька же молча взял уздечку из рук отца — и повесил ее на крюк.

Отец подождал, думая, что сын скажет что-нибудь, но Афонька молчал, и отец подумал, что всегда-то Афонька хоть и был шальной, но послушный. Подумав так, он решил, что с лошадьми Филиппа улажено. Ушел. Мать прошла к окну, на лавку, и, перебирая руками подвернувшееся полотенце и, видимо, стараясь загладить не ясную еще ей самой вину, стала что-то рассказывать. Афонька все еще стоял у крюка и не слушал, что говорит ему мать. Ему было обидно, что так скоро ушел отец, не сомневаясь в согласии сына. Афонька и сам знал, что не откажется, и не мог понять — почему. Знал, что ляжет в кровать рядом с пустыми, выпитыми Филиппом глазами и будет виться голодным псом вокруг ее тела всю свою жизнь, и на долгую жизнь хватит Афонькина сердца. Сердце у Афоньки не то, что у брата... «Выдержит», — презрительно мелькнуло у него в голове. И Глафире уйти некуда, так и она останется подле Афоньки, — с ним и без него, — будет терпеть и ругань, и побои, и темные осенние ночи...

— Ты ето про кого? — спросил он вдруг, вслушиваясь.

— А тут, Афонюшка, нищая на нашем краю показалась, жись свою всю нам со дня рожденья рассказывала... такая жись — все утро просидели, и отойти от нищей нельзя. Гла-

за-то у ней хоть и старые, а большие да добрые. Страдаю, грит, страдаю, а тут, откуда ни возьмись, добрый человек появится и добрым поступком пригреет. Так и тебе Глафиру пригреть надо. Нонче, сказывает, едет она на углях, на площадке, значит, а кондуктор мимо шел, позвал с углей, в свое помещенье провел, чаем угостил и еще полтинник на дорогу дал. Думала, грит, земляк, а он совсем из других краев, просто ласковая душа.

— Ласковая, говоришь, душа? С горбом она?

— Кто с горбом?

— Ну, старуха-то.

— Известно, котомка, либо што в той котомке...

Афонька расхохотался, сразу стало веселей, и мир словно полегчал, словно оперился. Афонька похлопал ладонью по уздечке, переобулся, — походка будто изменилась. Тут пришли парни и стали звать Афоньку на вечерку. До ночи было еще далеко, но надо было успеть достать водки, с гармонистом сговориться и с девками. Водки достали быстро, слегка выпили. Пришел гармонист с новой, необычайно звонкой гармошкой. Афоньке захотелось в улицу. Парни, обнявшись и долго толкаясь в сенях, вышли.

День был яркий, козырки фуражек горели, словно зеркала. Село их стояло на пригорке и было такое веселое и светлое, словно нарадоваться не могло, что забралось на такую вышину, откуда столько земли видно, что во всю жизнь пахать — не перепахать, сеять — не пересеять.

Подле амбаров парнишки играли в бабки, и бабки блестели в воздухе, словно прыгающие рыбы.

— Женюсь, ребята, угощаю! — вдруг закричал Афонька, и тогда развеселились еще больше.

Парни загудели и, предвидя выпивку, начали угадывать невесту, льстиво выбирая самых лучших девок в волости. И никто опять ни слова не сказал о Глафире. И то, что никто не сказал ни слова о Глафире, наполнило душу

Афоньки страшной и непередаваемо веселой тревогой. Он подождал, когда назвали самую красивую и богатую невесту — Аннушку Боленькову. Тогда он вскрикнул:

— А может, ее!.. Ставлю четверть! — и парни пошли к шинкарке. Переступая порог шинка, Афонька запнулся, и вновь ему стало непередаваемо страшно и весело. Шинкарки Любки не застали дома; был ее племянник, тощий Митя, прозванный Архангелом. Говорили, что шинкарка жила с ним, делая над ним городские любовные фокусы, которым она научилась, когда служила кухаркой. Митя имел сухие, словно высосанные глаза и говорил сильно шепелявя. Он дал парням только бутылку водки и деньги спрятал, как баба, в голенище, за чулок. Другую бутылку он не посмел выдать без шинкарки и на вопросы парней ответил, что Любка ушла к школьной сторожихе, а у той сидит какая-то нищая. «Афонские истории рассказывает»,— добавил он и как-то нехорошо облизнулся. Парни говорили, что надо обождать, а от выпитой водки у Афоньки еще больше заныло сердце, и он позвал парней к школьной сторожихе. И вот парни, звеня гармошкой, шли за Афонькой, и солнце за это время, казалось, стало еще больше и низко висело над домами, занимая почти все небо. Сторожиха же, шинкарка Любка и неизвестная нищая уже перешли в другой дом — к вдове Параскевье. Афонька постучал в окно и поманил пальцем — и он знал, кто выйдет. И верно — вышла вчерашняя нищая. Она зевнула, ласково посмотрела на парней. Десна у ней были розовые и в мягких хлебных крошках. Афонька подумал, что она на него не посмотрит, но она взглянула — и не узнала.

— Шинкарку Любку нам подавай! — закричал Афонька. Но и теперь старуха не узнала его голоса; она молча, все так же ласково улыбаясь, щелкнула щеколдой и ушла.

Вскоре появилась шинкарка Любка — грудастая, толстогубая — и, так как люди все были свои, она стала говорить,

что водки в городе достать трудно, она устала от такой тяжелой работы; видимо, она хотела надбавки или просто ломалась перед парнями. И опять Афонька закричал:

— Угощаю, плачу, бери все, што хочешь!

И на последние его слова из сеней показалась нищая. Она зорко посмотрела на широко расставленные ноги Афоньки — щедрость была во всей его фигуре — и, локтем поправляя за плечьми несуществующую суму, спустилась с крыльца. Она рядом стояла с ним и все еще не могла узнать. Тогда Афонька наклонился к ней и выкрикнул ей в лицо:

— Че-ем, бабка, живешь?!

И вдруг ласковые глаза старухи слиплись, она отшатнулась, и рука ее сделала такой жест, словно она хватала Афоньку за карман. Она открыла было ввалившиеся губы, но здесь Афонька, неожиданно для себя, ударил ее со всего размаха в рот. Старуха качнулась головой легонько влево, но Афонька ударил ее слева, в затылок, а когда она упала на землю, он пхнул ее в висок каблуком и отошел. Самый пьяный из парней взвизгнул, хватил кулаком старуху в бок, но потом отскочил и бессмысленно уставился на Афоньку. Парни закричали было: «Так ей и надо!» — хотя никто не знал, почему ей так и надо, но немного спустя парни вгляделись в старуху. Она быстро-быстро сучила ногами. Парни кинулись на Афоньку. Он не отбивался, а только протяжно мычал и, когда его начали бить, защищал руками лицо. Били его долго, неумело и как-то растерянно. Сбежалось много мужиков, и никто не хотел вступиться за него, да никто и не подзуживал парней. Когда пришел старик Петров, Афоньку отпустили; он лежал окровавленный и грязный неподалеку от старухи, сразу ставшей какой-то чистой, — ей уже кто-то сложил крестом руки. Старик Петров постоял, погладил тонкую бороду, хотел что-то сказать — и не мог. Попробовал поднять сына за руки —

и тоже не мог. Тогда мужики не спеша молча взяли Афоньку и повели в холодную.

Утром его увезли в город. Там, до суда, он сидел, сколько нужно, в тюрьме, а на суде, когда судья — бойкий и самоуверенный человек, сразу почему-то решивший, что Афонька конокрад, картежник и пьяница, сказал: «Подсудимый, ваше последнее слово», — Афонька встал, хотел было рассказать, как он ехал с похорон брата на угле, но не мог вспомнить название той длинной телеги, на которой везли уголь. Он растерялся, и многие слова перепутались в его голове. Он начал и долго говорил про каких-то кондукторов и врал неумело и зря. Афонька оглядывался, топтался. Никто, кроме старика Петрова, не приехал на суд, да и старику хотелось пожаловаться, что старуха все хворает, хозяйство сыплется, даже Филиппова лошадь, возвращенная мельником, хромает. Сам мельник пьет, Глафира ходит худая, оборванная и богомольная... Старик глядел на него укоризненными глазами. Судья морщился и думал, что Афонька, видимо, убил старуху, дабы скрыть кое-какие грешки, которые она могла знать.

— Ничего больше не имеете сказать? — спросил судья бесстрастно и сам остался доволен своим голосом.

— Ничего, — ответил Афонька, и тогда-то только пришло ему в голову, что он людям понятного сказать ничего не может, — и он визгливо, по-ребячески, заплакал. Отец тоже заплакал, а суд ушел совещаться. Суд вернулся быстро. У Афоньки были опять сухие и тусклые глаза, он долго и пристально смотрел на отца, а поклонился судье — низко, как отцу не кланялся во всю жизнь, косо ухмыльнулся, и его увели в тюрьму отсиживать положенный ему срок.

ПОЛЕ

Отпустили Милехина на четыре часа.

— Опоздаешь — не в очередь в наряд отправлю, — сказал ротный командир, со стуком прикладывая штемпель на пропуск.

Да Милехину и часу было достаточно. Ротному он сказал, что приехали родные из деревни, и, сказавши так, соврал. Хотелось проветриться. В казарме особенно казалось темно от мартовского солнца, от грязных окурков на полу, от стен, серых от грязи. На классной доске (раньше здесь была школа) кто-то белой глиной написал нехорошее слово, а рядом на стене хлебным мякишем был прилеплен плакат: «Колчак несет колбасу, Советы — свободу». И когда Милехин захлопнул обитую рогожей дверь и пошел через большой двор на площадь, — ему было тепло, сытно и радостно.

Станция железной дороги была от города верстах в четырех, и через каждые полчаса в город ходила ветка. Милехину не хотелось дожидаться ветки, и он пошел пешком через огромную площадь к станции.

Сверху пекло солнце, а снизу морозило. Площадь уже оттаяла, и только бугор дороги лежал грязновато-желтоватой лентой на черной разбухшей земле. За тальниками — прямо на западе — мерзло синел Иртыш, и видны были на нем разорванные кусочки дороги, как клочки бумаги.

— Тронулся ночью, должно, — сказал Милехин.

Но шипящего шума тронувшегося льда еще не было слышно.

«Скоро пойдет».

Милехин улыбнулся и почувствовал радость, словно лед принадлежал ему. Он, шумно бухая мокрыми английскими бутсами, шел по краю дороги, и снег ломался под его ногами. И треск этот доставлял ему удовольствие. Зеленоватая английская шинель, похожая на пальто, и голубые французские обмотки на икрах так не шли к огромной заячьей шапке с ушами и плохой рыженькой бороденке.

Над тальником мелькнула белым крылом чайка.

«Скоро пойдет», — подумал опять Милехин.

На вокзале толпились люди с мешками, большинство женщин; солдаты с жестяными звездочками на шапках; три китайца продавали сигареты и семечки. С крыши капала вода, и часто с тихим звоном падали длинные ледяные сосульки.

Милехин постоял у двери третьего класса. Какой-то комиссар с желтым портфелем подмышкой, проходя, толкнул его и тихо проговорил:

— Извините.

Милехин, чтобы не мешаться, отошел и сел на подоконник. Бегали мимо с фонарями и какими-то черными ящичками железнодорожники, свистели на разные голоса паровозы, стучали буфера вагонов. Сверху, тихо и не спеша, грело и станцию, и грязные вагоны, и набухающую влагой землю большое чистое солнце.

Рядом упала сосулька. Милехин наклонился и поднял ее, — она была без пустоты внутри. Упала вторая, третья— все такие же.

«К урожаю, — подумал Милехин, — налив будет полон и умолот богатый. Штука-а»...

И ему вспомнилось, что снег тает не от солнца, а больше ночью, от земли. И тает дружно.

— К урожаю, — сказал вслух Милехин и, сказавши этак, подумал о деревне.

Подумал, что скотина у него вся ко двору — чалая и бурая, хозяйство идет хорошо. В прошлом году плох был урожай, а нонче должен быть хорош — март весь сухой, да вот коли апрель будет в сырости — благодать. А теперь — в такое святое время — винтовку чисти, а то на часах у какого-нибудь склада стой. Ему стало нехорошо на душе, он поднялся, прошел три раза по перрону и решил итти в роту. В это время его окликнули:

— Кольша!

Милехин обернулся и узнал одного из товарищей по роте, Федьку Никитина. Он месяц назад заболел тифом, и его увезли в больницу. Милехин подошел к нему, и они подержали друг у друга руки.

— Как живешь-то? — спросил Милехин.

— Ничо. В поправку на два месяца в деревню пустили. Поеду сейчас.

— Ты какого уезда-то?

— Татарского, — ответил Никитин с удовольствием. — Через полдня, брат, дома буду. А ты?

Милехин нехотя ответил:

— Ново-Николаевского... Двое суток надо ехать. Ноне поезда-то беда как ходют, а коли с «Максимом», так и всю неделю.

— С «Максимом», верна, — подтвердил Никитин и звонким радостным голосом сказал: — Айда ко мне чаи пить.

Милехин согласился. Когда они шли, Милехин заметил, что Никитина пошатывает от слабости, а с лица он был такой, будто под венец шел. Милехин ему позавидовал.

За чаем Никитин, как и все после-тифозные, ел много и угощал Милехина. А Милехин не слышал, что рассказывал ему Никитин про больницу, докторов, а думал о своей деревне.

И когда он вышел из вагона, распрощавшись с товарищем, то решил уехать домой с этим же поездом. Прошло три вагона, хотелось сесть в самом хвосте поезда, но не вытерпел, вошел в вагон, прошел одно купе и в следующем полез под лавку.

В купе сидело пятеро солдат. Один из них с расщепленным носом спросил:

— Куда ты?

— Домой, — ответил Милехин.

— А-а... — сказал солдат, а другой, макая сухарь в стакан с чаем, спросил:

— Далеко тебе?

— До Ново-Николаевска. Одну станцию не доехать.

— Далеко. Документов нету?

— Нету.

— И хлеба нету?

Милехин ответил со злостью:

— Ну, нет, а тебе чо?

— Лежи уж, — сказал солдат. — Как-нибудь доедешь.

Два дня пролежал, не вылезая, под лавкой Милехин и на третьи сутки ночью слез на Грачевой. От Грачевой до Крутого осталось пятнадцать верст, и утром Милехин был дома.

Милка завизжала и кинулась под ноги. Гусь испуганно бросился в сторону, под опрокинутые розвальни; на конском черепе, воткнутом на заборный кол, как и год назад, сидел воробей и чистил под крылышками. Сенька выглянул в двери и заорал в избу:

— Мамка, батя приехал.

Баба поставила самовар, принесла молока, нарезала калачей и, утирая в кути подолом глаза, спросила:

— Надолго те пустили?

— На двое месяцев, — степенно сказал Милехин, и ему самому поверилось сказанному.

— Война кончилась, што ли?

— Где кончать? По болезни пустили.

— Какая болесть-то?

— А чорт ее знат. Докторам известно.

— Конечно, докторам известно, — всхлипывая, сказала Марья, — уморили человека-то, да еще и не говорят — чем.

— Ладно, не лопшись. Буде.

В деревне спрашивали:

— В кумынию не записался?

Милехин отвечал:

— Брюхом не вышел, говорят.

— Ишь, ты...— удивлялись мужики.— А у нас тут бают— в Омске-то усех в кумынию пишут, а кто не хочет, тому затылок бреют и к немцам шлют. Не видал таких?

— Не приходилось, — отвечал Милехин.

— Набродь мутить народ, добра не жди.

Милехин подтвердил:

— Не жди.

Но расспросы скоро кончились. Начался взмет земли, и все пошли на пашню. Весна шла тихая. апрель сырел — падали недолгие, но хрушкие дожди.

— Благодать, — невголос говорил Милехин, чтоб не сглазить. — Оглобля за ночь травой зарастат.

— Дивеса! — охала баба.

Плуг упруго и бойко буравил черную землю. Бурко потел, и от хомута пахло остро и сладко. Поблескивал лемех, поблескивала влажная шерсть на Бурке, и Милехину казалось, что сама отваливается земля — надоело ей лежать. С озер пахло камышами, распускались деревья, а где на них мокрели еще не распустившиеся почки, похожие на больших жуков.

И как-то не думал Милехин, что в Омске, на 2-м взводе, лежит у его нар винтовка № 45.728 и что он совсем не дядя Коля, а Николай Милехин, солдат Красной армии.

Куры сходили с насеста поздно. Баба улыбалась и тихо ночью говорила на ухо Милехину:

— Урожай будет.

— Ладно, — сонным голосом отвечал Милехин, и у него слегка щипало краешек сердца. Он притискивал к себе бабу и засыпал.

Когда расцвела черемуха, начали сеять. Утром с востока дул легкий ветерок — хорошо, зерна несло к западу, к покою; потом к полудню ветер совсем прекратился — еще лучше. Солнце стояло в теплом красном круге — смотрело, как ровно и грузно падают в землю большие желтые зерна.

Потом Милехин пошел в поле и увидал густой зеленый под'ем. С вглава — прозорного места, на котором он стоял, пашня походила на зеленую коломенскую скатерть. А по краям — акорье — черные, обгорелые лесины, как стаканы с кирпичным чаем.

— Видал ты... — с уважением к себе сказал Милехин и, вспомнив, что дома не поена скотина, пошел домой.

За воротами его встретил Сенька:

— Батя, там стражник.

— Где?

— В горнице... Шапка большая-я... Я боюсь.

— Не укусит, — сказал Милехин, подымаясь на крыльцо.

Милиционер повез Милехина в волость, а оттуда в уездный воинский комиссариат. Из уезда его отправили в губернию, и губвоентрибунал постановил: за самовольную отлучку из Красной армии в момент напряженной борьбы с врагами социалистического отечества конфисковать в пользу государства половину его движимого и недвижимого имущества.

ПЛОДОРОДИЕ

Феде Богомильскому.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Прибежал сынишка Алешка. Весело тряся недоуздком, радостно крикнул, что Серко разорвал путы о камень и ускакал в гольцы. Смеяться было нечему. Мартын со строгим лицом повернулся к сыну и нехотя вытянул его по потной спине недоуздком. И когда ударил, стало так тоскливо и жалко — то ли сына, то ли затерявшуюся в горах лошадь. Он перекрестился на видневшийся через заборы крест молельни и сказал кротко жене:

— Ты уж обедать не жди... Дегтем бы смазана была, тогды бы не угнала, а то теперь овод, поди, ее к лёдову затурил. Вот гнилота: путы — на что волос, а и то сгнил. Скоро и пригоны порушит... Работаешь, работаешь...

Жена его, маленькая, болезненная и тощая, словно недокормленный цыпленок, зная, что напрасно говорит и напрасно сердится, далеко брызгая жидкой слюной, крикнула ему:

— Заработался, леший!.. Мотри—толстый, как церква... Ишшо дите беззащитное бьешь... Ты бы себе за свою леность по мусалу с'ездил! Ох, пропасть бы мне скорее...

Чтоб подняться к гольцам, нужно было пройти через все село, через кладбище и сосновую рощу; оттуда начинался

березняк, затем Святой Овражек, и дальше — гольцы. Мартын достал единственную новую ситцевую — в большой цветок — рубаху. Палагея даже побледнела от злости, прижалась к голбчику, рот у ней пересох, — и ей самой стало страшно своего гнева. Она ткнула ему вслед тощим пальцем, точно пронизая что, разглядела свой палец — и тонко, словно с большой высоты, завыла.

Улица шла по берегу озера, где по необычайно зеленой траве вверх днищами были раскиданы лодки. Над берегом и озером тлелся легкий, как дремота, туман. Отдаленные горы, как снежный обруч висевшие над долиной, тоже были в синевато-розовом тумане.

Один лишь бот, принадлежавший Мартыну, валялся ближе всех к воде, боком; днище было треснутое, пакля вылезла, и — обиднее всего — кто-то нагрешил под лодку. Ребятишки, наверное.

Мартын хотел поругаться, но вспомнил, что не только бот, но и сети его давно сгнили. Было жарко. Собаки, высунув ровные розовые языки, лениво глядели на него, словно приглашая проходить и не мешать сну. Мартын бодро дернул плечом, оправил рубаху.

— Направлю вот, с понедельника али со вторника начну...

Ему неизвестно с чего стало весело. Он любил уходить в горы. Там легко думалось о кладах, редко встречались сельчане, при первом же слове упрекавшие его в лености. Сельчане были староверы — кержаки по-алтайскому, любили с благочестием помогать друг другу, любили, чтоб упоминали часто о такой помощи. А Мартын все забывал, и благочестием его наполнить было так же трудно, как бочку плевками.

Когда он начал подыматься проулком к кладбищу, навстречу ему попалась Елена, жена начетчика Скороходова. Она была высокая, полная; льняные косы выбивались из-под

длинного платка на синий старинный сарафан. Мартыну понравилось какое-то раздолье, несущееся от нее. Пухлые белые руки ее тихо потрогали маленькой подбородок, когда над ней низко пролетела сонная ворона.

— Здравствуйте, Мартын Андреич, — протяжно сказала она, проходя плавно мимо него. И белые руки ее, казалось, неистово как-то улыбнулись.

— И-ех... касатка, — сказал ей Мартын вслед. — И-ех... Поповски дочери, што голубые лошади: либо добры, либо дики.

И вдруг у него громко — будто в реве — заныло сердце. Сначала он как будто сдержал себя, но мотанулось, словно щука на крючке, сорвалось — и понесло. Мартын глядел в радужные от древности стекла окон, и какие-то мелкие рыбешки дрожали в них. Солнце поднялось высоко; басом, точно бык, прокричал петух; мальчишка с псалтырем в обеих руках торжественно пробежал мимо Мартына.

На кладбище он посмотрел, как над могилами, старинными голубцами в виде маленьких домиков, опушались березы. Вспомнил почему-то, что если в радуге выделяется зеленый цвет — к урожаю, и посмотрел на небо. В Святом Овраге он послушал, не ржет ли Серко, хотя помнил, что путал его версты за три от Оврага на березовой елани — поляне. Подле одного пня, почему-то похожего на сига, он посбирал перезревшую, почти темную землянику. Ягоды были темные и приторно-сладкие. Он выплюнул их с омерзением и пошел по березняку выше. Затем вспомнил про разрушенный бот и решил, что тут в чем-то виновата Елена.

— Краля толстопузая, — уныло сказал Мартын, — тоже лезет...

И опять заныло сердце, и трава под ногами казалась жесткой, словно солома.

— Я те мурсало-то расквашу, попади на меня!

И он закричал так, что даже сам вздрогнул:

— Серко-о!.. Сер-ко!.. Ну-у!..

Эхо отчетливо, без перекатов повторило его крик. Рассыпчато покатился камень. И эхо и тилилиньканье камней указывали на близость гольцов. Мартыну надо было взять вправо, а он полез влево по самой крутой тропе. Облепиха путалась в коленях, громадная паутина с жирным пауком посередине села ему на лицо. Жизнь свою, казалось ему, знал он, знал все свои нужды, знал все, что ему нужно делать... и все ж долго бежал в гору, пока по крыльцам за ошкур штанов густо не потек липкий и словно связывающий ноги пот.

Теперь вокруг него были матерые лиственницы, кое-где с них пластами была снята кора (для покрытия хлевов), ярко-желтая смола походила на ледяные сосульки. Подосинники синели в траве, дятел говорил где-то о кладах. Мартын огляделся — и опять рассердился не то на лошадь, не то на Елену. Прохлада охватила его, он лег полежать — ко сну он был падок, но в боку вновь словно хлестнулась заноза. Он ударил по стволу лиственницы так, что на недоуздке осталась сера.

— Я те мурло-то расквашу! Краса, подумаешь! Алёна, тридцать три года...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Осиновые листья лежали кверху изнанкой. Осинник и попавшийся овражек густо заросли пучками. Мартын, как дети, любил пучки. Сломал одну, есть не мог и, даже не думая о ней, полез влево. На самом дне овражка Мартын выронил пучку — и поскользнулся на ней. Упав, он вдруг ощутил мокрый холод в колене, наклонился ниже; прозрачный до того, что паутинка, упавшая вместе с сучочком, виднелась на донышке его, маленький ручеек пробирался у него под ногами. Овражек показался ему незнакомым. Жужжали пчелы, должно быть, недалеко: пасека. Он поймал пчелу,

она ласково зашипела у него в ладони, будто торопя его выпустить, — и не укусила. Он последил за ее полетом и пошел по ручью дальше.

То, что тут тек ручей, казалось ему большим непорядком, и это даже заглушило его сердце и то, что он выпачкал штаны. Откуда ручей? Озеро в долине Кок-Таш наполнялось весной тающими снегами со склонов гор, осенью оно сильно мелело — и тогда легко было ловить карасей и линей.

«Родник, видно, забил, — придется проследить. Да и Серко, небось, к воде вышел. Где ж, коли не у воды искать коня».

Овраг скоро кончился, ручеек тек уже из березняка. Был он теперь шириной не больше пол-аршина, тек он медленно,—упавшие березовые листья долго цеплялись друг за друга, словно играя, а потом, качаясь, плыли дальше. А местами вода была столь прозрачна, что ее можно было заметить только по журчанию.

«Не иначе, родник».

И вдруг, выходя из березняка, он увидал болото, самое настоящее болото с мелкими кочками, поросшими остро пахнущей осокой. Это было уже совершенно чудно, — никогда по склонам гор, окружавших долину Кок-Таш, не слышно было про болота.

«Да заплутал я, што ли?» — и Мартын встревоженно поднялся на высокую безлесую скалу. И тогда сразу, поверх запахов хвои, снизу, из долины пахнуло на него цветущими хлебами. От волнения у него словно колос прошел по горлу. Ему казалось, что сквозь синеватую пленку тумана, закрывавшую озеро и долину, он видит поля, плотно затканные колосьями. Звенят усики, подмигивает игривый овес, просо лохмато, будто староверческие бороды... Много телег едут осматривать поля, голоса звенят ясно, значит, будет вёдро, будут закрома подперты кедровыми слегами, чтоб не развалились...

«Соберу зерно, ружье обязательно куплю, на горностая уйду в камни... а там видно будет».

Он вновь вспомнил Елену — и кинулся к ручью.

Болотом итти было трудней, осинник перегнил, часто нога вязла в кислой няше — болотной глине. Перед самым концом болота из осинника выскочил журавль. Нелепо расставляя ноги, он разбежался, оглянулся со страхом — и медленно полетел. Поднявшись над скалой, на которой был Мартын, журавль тоскливо курлыкнул. И журавль, и болото, и тоска — все было зряшное, пустое. Мартын обрадовался гольцам, обширному серому полю, голым скалам вдали и твердому, с каменным запахом лишаев ветру.

А ручей уже был величиной с шаг и встречал его грохотаньем влекомых им галек.

«Чисто наважденье... и Серко не могу найти»...

Он поднялся совсем высоко — едва ль уйдет сюда конь. Болотце, через которое он проходил далеко внизу, закрыл туман. Показались впереди холодные, крытые рыжими лишаями, обдерганные словно, скалы. Сверху хлынул ледяной веетр, знобким коробом натянул за плечьми рубаху. Мартын, вправляя рубаху в штаны, упрямо потряс недоуздком:

— Я-то узнаю, в чем тут запалошная события...

Солнце поднялось высоко, но было холодно; шаг становился все легче и легче, но было такое чувство, словно он итти-то шел, а — словно часы — не сходил с места. Закопошилась знакомая всем долинная тягость, все же Мартын не повернул назад.

Слева из гольцов вышла темно-бурая гряда холмов. Ручей уперся им в бока. С самого высокого холма Мартын разглядел внизу, еще левее, начало пустынной каменистой долины, соседней с Кок-Ташем, называемой Талас. Она была необитаема, гола; холодные потоки вод с ледников устремлялись туда, чтоб, соединившись в реку, направиться в Нор-

Зайсан. На холме было еще холоднее, он вновь спустился на гольцы.

Наконец он увидал Тиляшские неприступные скалы. Они подымались в густое синее небо высотою в пять наивеликих сосен, вершины их походили на поставленные дыбом челноки; огромный беркут, словно часовой, нехотя и злобно кружил над ними. За скалами начинались ледники, незнаемое лёдово, вечные холода, смерть.

И здесь Мартын увидал: огромная, с часовню, глыба, выпавшая из скалы, открывала что-то похожее на окно или погреб. Там, похожие на синие нити в ткацком станке, блестели тускло льды, и оттуда-то хлестал на волю неизвестный ручей. Выше и по бокам ледяного погреба шли широкие, в ладонь, трещины, осыпался щебень.

— Дивеса!.. — сказал со смехом Мартын. Он был доволен, что знает, откуда течет ручей. Он наклонился с розового, похожего видом на паука камня напиться к крошечному запрудчику. Коршун отразился в воде, и ему показалось, что коршун летает над ним.

— Брысь! — весело сказал он.

Но вода была столь холодна, что словно камнем ударило его в зубы. Спокойствие охватило его, он свистнул, подмигнул неизвестно кому и побежал вниз. На одной из еланей он встретил Серко, стоявшего по голову в траве и яростно отмахивающегося тощим хвостом от оводов. Конь, увидав хозяина, заржал; в редких зубах его торчали листья таволжника. Таволжник цвел, значит, хорошо пойдет в сети карась.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Утром он почистил Серко, и баба долго дивовалась на это. Дальше ему захотелось на озеро. Он вычерпал бот, кое-как затыкал щели куделью, Алешка сел за лопашные весла. В курье — узком протяжении озера, заросшем камы-

пом, встретились рыбаки-сельчане, сытые, здоровые. В ботах у них стояли большие корзины, наполненные рыбой — золотисто-серыми карасями и темно-янтарными линями. Похвалили Мартына:

— Надо, надо! Клев на уду.

Мартын смазал морду внутри пресным хлебом; вода, казалось, гнула прутья, когда он опускал морду, долго расходились круги по воде. Утро было крепкое, как холст; кудерочки облаков ходили стайками. Жить бы, поживать да посмеиваться в такое утро да в таких местах.

Ресницы от теплоты слипались, словно березовые мочки. Мартын начал смазывать вторую морду, но вдруг опять защемило сердце, он отодвинул горшок с тестом и посмотрел на горы.

— Парит, Алешка.

— Но, парит! — возразил ему Алешка. — Я вижу — на сеновал хошь. Сичас ветер с лёдова подует, жара-то и схлынет. Я самолов поставлю.

— На поле надо сходить... поворачивай-ка, Алешка.

Алешка обиделся.

— Дай, хоть морду спущу.

Он ловчее и быстрее отца поднял широкую плетеную, похожую на корчагу морду. Мартын удивился на его сноровку, но было обидно, что сын не почитает его, гляди, лет через восемь прогонит отца на полати и возьмется за хозяйство. Мартын сказал ему об этом.

— И будет... — уверенно ответил Алешка. — Лежи.

Мартын рассердился, выругал его.

Вытащив бот на берег, Алешка взял нож и пошел в березняки за вениками, а Мартын направился на пашню. Погонка хлебная, — концы колосьев, образующих равную земле плоскость, — блестела словно начищенная; изредка над ней выныривали от легкого ветра князьки — более высокие и крупные колосья. Все было как нужно: в цветенье

дул легкий ветер, погода ясная, в колосе завязывалось доброе зерно. Пахло теплой соломой и сухой землей, в пыли играли воробьи, перепел выстукивал: «Вот идет, вот идет»...

Мошки вились табуном, бабочек-белянок было много — все к урожаю, к ясности, а сердце у Мартына захолонуло еще больше. От жары, что ли, или устал, много пробыв над водой. Он вернулся домой, влез на сеновал, — баба только что привезла накошенной травы. Трава была мелкая, точно волос, и пахла медом. Он тупо выслушал бабью воркотню, даже не обругал. Угрюмо смотрел он на ветхую крышу сеновала и так мотал головой, словно крыша могла сейчас упасть и раздавить его. Так он пролежал до вечера, а вечером поел картошки с луком, переложил топор под лавкой лезвием к стене и вернулся вновь на сеновал.

И весь следующий день пролежал Мартын. Баба начала беспокоиться.

— Болит где, што ли?

«Разве к доктору с'ездить», — подумал Мартын. Но доктор жил далеко, за двадцать верст, к тому же Мартын думал, что доктора могут помогать только в животе, до всего остального они еще не дошли.

— Чего ж лежишь ты тут, будто лёдово!..

При этих словах жены Мартын вспомнил синюю стену льда, выдавившего дно скал, холодный ручей, бьющий с рокотом из-под льдов.

— Ты мне на завтра хлеба отложи. Мне надо в камни сходить.

Утром он, верно, ушел в камни.

«Выкупаться, гляди — поможет», — думал он, идя Святым Овражком к болотцу.

На болотце была уже довольно глубокая топь, кое-где по открытым местам ветер, прорывавшийся через осинник, колыхал по воде осоку. Крякали утки, легкий пар подымался от затопленных пней. Мартын обеспокоился, что при-

дется далеко обходить болотце — не раздалось ли оно еще в ширину. Поток за болотцем стал еще шире, он увлекал с собой камни величиной с гусиное яйцо, с шипеньем рыл в гольцах свое логово. Камушек, где еще недавно Мартын стоял и пил воду из потока, был под водой и, казалось, вырос. Лед под скалами словно сел ниже, и отверстие погреба расширилось. Мартын сунул в поток руку, ее захватило словно петлей и повлекло...

А тоска оседала на душе все ниже и ниже, как эти льды. Мартын вышел из тени скал, и ему сразу стало теплее, хотя с ледников через скалы несло холодом.

«Жара-то какая... лёдово-то тает как, поди, там... Ишь, ведь камень проело, чисто крот»...

И он подумал, что сейчас начало самой жары, льды начнут таять по-настоящему недели через две...

Солнце упало в погреб, и льды ощерились словно клыки. С металлическим звоном откололась глыба величиной с бочку и, качаясь, выкатилась по потоку на гольцы.

«Вот потечет-то... Ведь этак-то»...

Он хотел пошутить, что теперь им не надо набивать на лето погреба свои льдом, но вдруг мучительная мысль опалила его сверху донизу, так, что заныли икры.

«Ведь этак-то в долину река пойдет»...

Он еще не мог понять, как это пойдет река в долину, — через матерую черную землю, через эти нивы и покосы, где колос тяжестью в человечью руку, а сено на вилах словно бобровая шапка.

Он, не оглядываясь, кинулся вниз по гольцам.

Пробежав сосновый лес, он выскочил на дорогу. Здесь догнал он Турукая-Табуна, Микиту, веселого мужика. Турукай был мужик никчемный, пустой, и если б не тесть да не отец, он бы всегда сидел подле озера с удочкой, рассказывал сказки да ловил окуней. Собой он был какой-то мочалистый, постоянно кашлял и много врал. Турукай сидел

на возу березовых жердей; увидав Мартына, он заулюлюкал, засрал; лошадь, привыкшая к его выходкам, только повела ушами.

— Мартын, друг сердешной, таракан запечной, откедова? А я как раз сотой воз жердей в этой неделе везу, да едва под пропасть не попал, — медведь, сукин сын, лезет из черни... ладно, лошадь ученая. Садись, подвезу.

Мартын сел. Нежная белая кожица на жердях во многих местах облезла, показалась другая, зеленая. Мартыну, кто знает почему, стало жаль березки, да и брехняка Турукая тоже было жаль.

— Река идет в долину-то, — сказал он тихо, — из лёдова идет. Сейчас сам видал.

— Ну, река! Плоты, значит, будем плавить. Я, брат, мастер по плотам... раньше, до революции меня купцы нарасхват на плоты звали, невест-то сколько давали, с приданым... тыщи.

Он уперся руками в бока и долго хохотал.

— Али мельницу открою на шастнадцать поставов, с аликтрическим освещеньем. Брать буду по копейке с пуду, всем мельникам по округу конец. Еще убьют, пожалуй.

— Да ты не болтай, Микита. Я те всурьез говорю — река.

— Взаболь? Ишь, лошадь под тобой вспотела... как сел, так вся потом изошла... к сердешному делу, выходит.

— К сердешному? — переспросил Мартын.

Но Турукаю, видимо, стало скучно.

— Ко мне девка пришла ноне за яйцами, занять. Я ведь кур новых купил... голанских... десять рублей пара, каждая весом по полпуда, небось. Я говорю девке-то — пойди на поветь, там куры свежих яиц нанесли, собери сама... я оглобли строгал. Да правей бери — там они и несутся. А правей-то жерди разошлись, в повети-то яма. Она и бу-ух... только руками полснулась. И застряла, трафи ее, посредь жердей,

юбка на голову, орет. А я скорей в пригон, скорей беру прут да снизу-то и давай ее щекотать. Ногами машет, вертит, дрыгат в конец-то... в дождь ударило... едва со смеху не сдох.

Он долго катался по жердям, хлопал себя по ляжкам, визжал.

— Да у тебя, Мартын, мурло-то—чисто ты погань какую с'ел... Али идет вот попадья с работником, и встречаются им две собачки...

Но когда Мартын и этой сказке не рассмеялся, Турукай обиделся.

— Зболтанный ты какой-то, Мартын, скушно с тобой чисто в туесе.

Он стегнул лошадь, жерди затрепетали, защелкали. Турукай запел песню. Кому тут говорить о мутном своем сердце?

★

Мартыну не спалось. А когда поднялся над озером месяц и погасил в воде лениво мигавшие звезды, стало так тоскливо, что заныли пальцы. Он пошел по селу. Подле изб, как и везде у сибиряков, лежали напоказ богатства все: плуги, косилки и жнейки. Они портились от погоды, месяц блестел тускло и кроваво на ржавчине. Ворота высокие, как у крепостей, с железом крытыми кровлями. На бревенчатых заплотах сидели кошки, сытые, толстые.

Ночь шла под Ивана-Купальника. Девки в эту ночь собирают двенадцать разных трав, кладут под подушку — завечают свою судьбу. Девки шли в обнимку с парнями, с полными горстями трав, тихо, без голоса, словно скотина с водопоя. Кое-где в палисадниках тихонько, истошно охали, и тогда сразу тяжелел живот у Мартына. В одной избе проснулась баба, вспомнила, что завтра Иван-Купальник, и, голая, на месяце, вышла к окну, поставила на подоконник под Иванову росу пустые крынки, — от Ивановой

росы снимок-сметана делается толще. Груди у ней не вместились бы и в крынку, она сонно, медленно качалась и не замечала стоявшего под окном Мартына. Окна везде были настежь, и казалось — в вековечном сне храпят кержацкие избы. Спокойно дышала скотина во дворах; тоже, если не идет в хлев, — к добру, к ясности. В одной избенке мельтешил жировик, там вдова шинковала, но пили там тоже тихо, будто больше для сна. В окне Мартын увидал мужа Елены, начетчика Скороходова; он уговаривал соседа итти домой. Мартыну захотелось выпить, но кто ему поверит в долг. И тогда он озлился, выругался и пошел к скороходовской избе. Он перелез палисадник, черемуха хлестнула его по горячему лицу, он поднялся на завалинку. Плахи завалинки качались (землю, чтоб не прели бревна, выкинули от плах и стен), пазы пахли мхом, а изба, вся наполненная месяцем, пахла хлебом и человеком. Елена лежала на кровати, и пухлые руки ее свешивались до полу, словно ловя косы. Ребенок, посвистывая носом, спал на голбце. Месяц ушел за облако, и Мартыну было приятно видеть темное жерло избы. Только еще сильнее пахнуло оттуда человеком.

— Экая сыть, — уныло сказал про-себя Мартын, плюнул в выставленную на росу крынку и пошел обратно.

Парни и девки расходились по домам. Девки зыбались чреслами, шел от них плотный запах кислого хлеба, а парни словно спали.

Мартын остановился перед молельней; прямой раскольничий крест скосился от древности. Мартын в бога не верил, и ему казалось, что все верующие притворяются, но сейчас он обидчиво сказал:

— Видно, и бог-то тоже спит. У одного меня, што ли, сердце-то ныть обязано...

Безгромовые зарницы мелькали над белками, беззвучно качались камыши, и выпрыгнувшая из воды рыба словно растаяла в воздухе.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Мартын сидел на заплоте, он веревкой перехватывал матицу, чтобы потом попытаться с лошадью вместе потянуть и выпрямить покосившиеся ворота. Мимо прошел Антип Скороходов; он был сильный плечистый мужик, в проседь, картуз низко сидел над длинными, словно огурец, ушами. Отойдя несколько шагов, Антип остановился, подумал и одернув пиджак вернулся к Мартыновым воротам.

— Мартын, я ведь тебя, как птицу, могу с заплота стряхнуть, — сказал он, положив крепкие волосатые руки на бревна.

— А стряхни, — нехотя сказал Мартын, — может, ворота выпрямишь. Мышь скирдой не задавишь.

Скороходов повернулся к нему спиной и сказал, глядя на озеро:

— Колдуешь все... деревню обещаешь затопить...

Мартын озлился и закричал:

— Кабы да мне грамоту да обученье, я бы вас, толстопузых чертей, всех превзошел. Ты вот начетчик, писанье наизусть выучил, почему ты понять не можешь, что деревню-то зальет. Вот к брюху бабищи твоёй подойдет, тогда и засикильдите.

— Ну! А ты, Мартын, старайся, старайся.

Он наклонился к нему, огляделся по сторонам, и на висках у него показался пот.

— Ты вот по горам стал похаживать, а я тебя понимаю... На воде-то ты глаза отводишь, а главная мысль твоя — метал. Я тебе без хитрости: бери меня в пай на золото. Работников наймем, брата пошлю, сам все дела буду вести, как по ниточке.

В горах там вокруг прииска. Были когда-то прииска и в пустынной соседней долине Талас, куда бежали потоки

с ледников. Из таких сел, вроде Ильинского, на прииска народ больше уходил зряшный, пустой, у которого с хозяйством ничего не выходило. «В метал пошел» — было вроде ругани. По правде сказать, богатеями с приисков и стараний не возвращались.

— О золоте не спишь, а того, леший, не поймешь, что скоро, месяц, два али раньше, деревню затопит.

Антип погрозил толстым волосатым пальцем:

— Мартын, не хитри. Говорят тебе: в пай пойду.

Глядя ему вслед, трудно было понять — поп ли это, купец или знахарь. Пиджак длинный, волосы тоже длинные, в одной руке пук травы и кореньев, а в другой кнут.

Мартын разозлился на ненужные мысли и на то, что подумал: «Хорошо бы с ним в пай. Елену будешь каждый день видеть». Он кинул нагретую солнцем веревку на землю, погрозил кулаком воротам:

— Вешаться на такой махине только!

Поглядел на горы.

«Сам уплыву, тони все барахло, а не пойду».

Но через день он взял лопату — и пошел.

В Святом Овражке пучки уже подсохли; ему захотелось есть. Он остановился, подумал, не вернуться ли ему домой за хлебом. В кустах рядом треснул сучок, кто-то фыркнул. Мартын раздвинул кусты и увидал обвитое паутиной лицо Антипа Скороходова. Скороходов был тоже с лопатой, руки его беспокойно перебирали черень, а фигура была строгая, и голову он держал немного на-бок, словно читал молитвы.

— Дай, думаю, посмотрю, где это ты метал, Мартын, роешь.

И он осторожно вздохнул.

— Пойдем, чего тебе за мной следить, — сказал Мартын. — Хлеба ты не захватил?

Антип указал на оттопыренную пазуху, Мартын кивнул и пошел вперед.

Болотце было сплошь залито водой. Вода, видимо, не успевала испаряться и, несколькими струйками теряясь в траве, искала выхода в долину.

— Видишь, — указал Мартын.

— Ну?..

И по губам Антипа Мартын понял, что думает он совсем иное и едва ль видит воду и думает о ней. Из кармана у него торчал завернутый в тряпку нож, и нож-то особенно разозлил Мартына.

— Долго мне еще с вами, дураками, возиться! Понимаешь?

Антип не обиделся на его ругань, он как-то не по характеру торопливо поддернул штаны и ласково заглянул Мартыну в глаза.

— Это тебе, начетная твоя дурь, должно быть дороже метала. Ручей-то течет в долину, а долина-то как блюдечко— ни вытека, ни втока. Ты вот попробуй капать в блюдечко по капле... капай да капай...

— Здесь, што ль, Мартынушка, россыпь-то...

Мартын яростно плюнул.

— Дурак!

— Где ж?

— Выше.

Мартын и не повел его к Тилясским скалам: все равно— метла метлой, а не человек. На самом низком холме, из цепи закрывавших проток в долину Талас, Мартын ткнул перстом в землю и сказал:

— Здесь. Рой, да глубже.

Он сел рядом на камень и тоскливо глядел, как моталась в руках Антипа лопата. Прорыл тот не больше аршина, лопата зазвенела и сломалась.

— На породу наткнулся,—с недоумением сказал Антип.— В другом месте разве порыть, а то пласт-то тонок больно.

— Не надо. Не прорыть, значит.

Долина Талас лежала перед ними — пустынная, бурая и тихая. Сколько воды может принять, а поди ты!

Антип тем временем схватил лопату земли и побежал к потоку. Там он пустил землю по шапке, долго рылся в ворсе и, вернувшись потряс черенком перед лицом Мартына.

— Нету метала-то ведь, нету.

— И не было, — сказал Мартын, вставая. — Пойдем домой. Я своей силой думал отвести, а теперь не иначе — взрывать... Со стариками бы ты поговорил.

Антип вдруг задрожал, побледнел:

— Ты у меня не хитри, ты у меня глаза-то не отводи... Ты указывай, коли сговорился.

— Укажу-ка я тебе одно место, — сказал тихо Мартын и тоже начал дрожать: — откуда мысль твоя пошла... да, небось, сам знаешь. Иди, я на тебя да на твою бабу... не работник.

Скороходов вдруг заругался громко, всеми матами, — он, видимо, и сдержать-то себя не мог, да и не хотел. Так он шел за Мартыном до самой колесной дороги через весь сосновый бор, ругался, пока Мартын не удивился:

— Ну, и жаден же ты, Антип! Как суслик. Благословись, огарком очертись.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Пашни начинались сразу за поскотиной. У ворот поскотины часто любил сидеть Турукай: можно было остановить каждый воз, в'езжавший и выезжавший из села, поговорить и соврать что-нибудь. Турукая все любили за сказки и за то, что он многому верил. А не верил он только в смерть и такие сказки, где говорилось, как и где помер, он не рассказывал и говорил, что их бабы-старухи выдумали.

— Я, — говорил он с полной верой, — не помру. Пробогохульствую и в лешие или водяные предназначу себя — только меня и видали.

Поскотину караулили всегда мальчишки. Турукай рассказывал им сказки и подговаривал обворовывать огороды и маковые поля. Мальчишек часто ловили; кто знает, может, Турукай же и предавал их. Пороли их мокрой крапивой. Турукай долго потом издевался над выпоротыми.

Когда Мартын подошел к поскотине, Турукай широко распахнул ему ворота, поклонился в пояс и вдруг захохотал:

— Баба сейчас Скороходова на пашне лупила, только что прошел впереди тебя, весь-то будто каменный. А ты все, Мартын, метал ищешь. В прошлом году попал я в Таласскую долину, смотрю — на дороге самородок лежит, никак не меньше куриного яйца. Я его бац в карман, а карман-то с дырой. Прихожу домой, а там ветер в кармане. Слез-то пролил сколько, жалко!

Мартыну после Антипа как-то весело стало от турукаевской брехни. Глаза у Турукая были веселые, ясные, сам он весь словно на гору вспрыгнуть хотел.

— А ты, Мартын, разрыв-траву такую поищи. Все тебе клады раскроет, от болезней излечишься и любую бабу приворожишь.

— Нет такой травы, чтоб приворожить. Я бы поискал.

— Я тебе говорю — есть. Я одного старика видел, купец-скопец, в городе. Листок дал один махонький, — клад, грит, можешь достать, любую бабу али болезни. А у меня страх тогда живот болел! Мне бы про клад надо сказать, а потом на эти денежки из Питера докторов выписать, а я и брякни: брюхо, мол, хочу залечить, понос несусветный. Листка-то как не бывало, а и болезнь-то как теленок языком слизнул. Да...

Мартын потрогал его за плечо и сказал:

— А ты, Турукай, в партию не хошь?

Турукай даже зажмурился от радости.

— В партию, Мартын, хорошо-о... Волостным председателем... А мне тот же скопец говорил: Ленина-то, говорят,

в склепе-то нет, заместо его какой-то солдат лежит, а сам Ленин сейчас по России ходит, надежных людей выбирает, чтоб всему миру войну об'явить. Тыщу, грит, начальников набирает, а набрал только пятьсот. Ведь, очень просто, может и в наше село зайти, скажет: а пошто Турукаю не быть у меня главкамандущим, если он у меня в партии. Надевай на Турукая ордена и давай ему коня арапской породы, а...

— Обожди, главкамандущий, — прервал его Мартын. — Я те на самом деле говорю: давай по селу-то партию устроим, зажмем им гасники-то.

Турукай заморгал, посмотрел в сторону, подергал локтями.

— Давай. Однако и чудно! Сколь лет жили без партии, а сёдни только оказалось — нельзя без нее жить. Я в ней кем буду? Я ведь тоже грамоту-то хоть и проходил, да все церковно-славянскую, да все за заботами-то из головы выскочило.

— Научишься.

— Это я могу. Учиться я могу здорово. В три дня до всего дойду.

Он яростно сплюнул, засучил рукава.

— Мы им, сукиным детям, покажем. В шелковых рубахах скоро ходить будут, а там страдают. Да-а...

Вечером было тихо и пасмурно. Турукай обегал всю деревню, наврал, что из города едут на трех подводах инструктора, что Турукай послал главному по партии пакет, а что там написал, добавлял он угрожающе, — потом разберутся. Старики, вышедшие из молельни, сгрудились и стали говорить о погоде, что пора перепахивать во второй раз пары, а под пшеницу троить кислые залоги — новые земли. Поговорили и о прежней жизни, и о том, что теперь так дорога мануфактура: рубль двадцать аршин. В это время проходили мимо бабы, сговаривавшиеся назавтра итти по

клубнику и по красильные травы. Среди них была и жена Мартына. Высокий старик с тупым и упрямым лицом, Митрий Савин, поманил ее пальцем.

— Ну, как Мартын-то? — спросил он ее строго.

— Не знаю, Митрий Василич. Все тосковал, по ком — не знаю, а вот теперь гневается, а пошто гневается, и ума не приложу. Вам, старикам, разбирать.

— Дурит он у тебя. Скажи, что, мол, в гости придем.

Итти им к Мартыну было до мучения тяжко. Они долго еще говорили о погоде и об урожае, наконец оправили сзади старомодные кафтаны и пошли. Мартын согрел в чугунке чай, старики поблагодарили, но попросили налить им вместо чаю кипятку. Но и кипяток они пить не стали. Спросили, много ли Мартын наберег на зиму сена; за него ответила баба. Тогда высокий старик, Митрий Савин, протяжно сказал:

— Мартын Андреич, ты бы эту штуку, што Турукай болтает, оставил. На чем свет, на том и позор, а на наши места тысчи народу зарятся. Наша земля-то клином впереди всех земель идет. Сколь лет без партий жили, а тут на́ тебе. Вон в Артемовке младший у Глафировых в город ушел, в камсамольцы записался да и женился на жидовке. Пошел второй — на водке сгорел. Третьему только счастье: жена тихая, работящая, сам дома сидит — пимокатное рукомесло изучил. Тебе и помощь устраивали, и хлеба давали, и еще дадим, коли надо... скотину для работы можно определить... А коли сознаешь ты, што не можешь хрушкую лямку тянуть, шел бы в метал. Семью-то твою не забудем...

Старикам не хотелось говорить с Мартыном, но времена дикие: если не партия, сожжет еще, а потом такие законы отыщет, погорельцев же судить и будут.

— Не хочу металу! — вдруг, подбочившись, закричал Мартын.

И кричать-то ему не хотелось, да и подбачиваться-то, сам знал, смешно, по-турукаевски выходило, а вот понесло как-то.

— Не хочу. Разговор буду с вами иметь.

Он вспотел даже, но локти задрал еще выше. Старики, все так же легко вздыхая, смотрели в сторону.

— Имею я желание ехать с вами, старики, в горы. Для полного маршрута. Лёдово на долину идет.

— Веками лёдово в Таласскую долину шло, — осторожно сказал Василий Тюменец, толстый, со слезящими алыми веками старик, — а теперь што ему запритчилось к нам поворачивать...

— Прошу встать! — закричал вдруг Мартын. — Алешка, собери к завтраму телегу.

Старики пожевали губами и попросили выехать пораньше, до жары. Когда они ушли и баба, вздыхая протяжно, стала убирать со стола, Мартыну стало стыдно, что он так кричал на стариков, которые ничего не сделали ему плохого, ломался, словно пьяница, и себя показал дураком. «Завтра, — решил он, — буду степеннее». Но утром он опять задурил: надел новую рубаху, занял у соседа ременный пояс с блестящей пряжкой, по деревне ехал и громко кричал, упрекая стариков. Ехал он тихо, и ему хотелось, чтоб его видела Елена, — он даже остановился против ее окон, будто бы поправляя шлею. Окна были раскрыты настежь но Елена не обернулась; она садила хлебы в печь, и мелькала перед темным жерлом печи круглая, посыпанная мукой лопата. И тут Мартын не вытерпел; указывая на ее зад, он подтолкнул самого молчаливого старика, богомольного Сидора Лабашкина:

— Цело-то, цело-то како, мотри! Тебе бы такое цело. Не уцелел бы, дядя!

— Отвяжись, лихоманка, креста-то на тебе нету, — строго сказал ему Митрий Савин.

— И не будет! — закричал Мартын.— Всю деревню переверну, легче. Мне ради такого дела... никто не жалко! У меня душа горит! Я на все согласен!

Но и тут Елена не обернулась.

За поскотиной поехали быстрее. Черная пыль огромным хвостом, словно тень, волоклась за телегой. Старики глядели на поля и говорили: цветы пахнут сильнее с каждым днем, значит, колос наливается полней, тяжелей; что коготки рано развернули венчики — овсы будут питательны; к теплу — мышь оставляет траву — пищу снаружи, а не тащит внутрь норы; что кошки крепко спят — тоже к теплой зиме. Трещали звонко кузнечики, высоко выпрыгивая промеж колей дороги. Небо было душное, хотя и раннее, и почти желтое.

Но вдруг громадная лужа воды преградила им дорогу.

— Об'езжать, что ли?! — закричал вдруг обрадованно Мартын. — Дождались! Выбирайте теперь имя реке, крестить ее надо, старые черти!

Старики охнули. Прямо через поле богомольного Сидора Лабашкина несся с шипеньем и пеной ручей.

Тогда Мартын указал на небо и начал по пальцам пересчитывать приметы:

— Горы-то в ясности — жара, кошки-то спят долго — к теплу, мышь-то сено снаружи держит — к теплу... А лед-то тает, лёдево-то идет, конец вам подходит, а... Буде с бабами валяться, буде... дай другим, а?

Старики молчали, а старик Лабашкин слез с телеги, ухватился руками за смятые, подмытые водой колосья и тихонько, по-ребячьи завыл.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

К ручью сбежались мальчишки, сразу появился подле ручья мусор, — пашню, чтоб не пропадала, наскоро скосили и стали сушить пшеницу для корма на поветях. Рев быстро

прекратился, и никто не верил, что вода в озере может подняться. Тогда Мартын воткнул в воду размоченную вешку, вода в сутки поднялась на полвершка. Ему не поверили, и старик Митрий Савин сам воткнул вешку и весь день сидел подле нее, не спуская глаз. Вода поднялась по его вешке на вершок.

Турукай-Табун, согнув палец, помчался по деревне с криком:

— Братцы, на вершок! а с завтрава будет по пол-аршины подниматься, там еще камни обрушились, я сам видел.

Турукаю не поверили, но старики с'ездили в горы, посмотрели поток.

— Што, назвище какое будет? — сказал им ехидно Мартын. — Назовем ручей-то Бабьим, а?

Антип Скороходов закричал ему:

— Колдун, сукин сын, наколдовал, а теперь смеешься! Цена зайцу две деньги, а бежать за тобой — сто рублей.

— Одна пора в году — страда, — вздохнул Митрий Савин. — Мы к тебе, Мартын Андреич, опять вечерком-то заглянем.

— Загляните, угощеньем не обидим.

Елена как-то встретилась; попробовал Мартын сказать ей что-то, да получилось очень обидно. Она оправила платок, шевельнула плечом и, сказав с отвращением:

— Пела бы жнея, да горлышко пересохло,—пошла прочь.

Позже Мартын подобрал нужные слова, но не было случая переговорить, да и нужно ли было с ней говорить — он не мог понять.

Старики опять, как и прошлый раз, сели по росту — низкий ближе к божнице. Опять отказались от чая, и Митрий Савин сказал:

— В город, што ли, тебя послать...

А молчаливый Лабашкин, наконец, вымолвил:

— По вершку в день — так вот и смерть человечья.

— Что в город! — возразил Тюменец со злостью. — Богатеи, скажут, кулаки — тоните, ни дна вам, ни покрышки. В городе народ обнищал, на достатки зарится, за ситец вон по рупь двадцать дерет.

Тогда Митрий Савин тряхнул большой головой и сказал резко:

— Што там с души-то кажуху сдирать, надо дело... Придется тебе, Мартын, как ране говорил, партию по селу доспеть.

— И на самом деле, Мартын, партию.

— Партейному, бают, сплошь вера и помощь.

Тут постучали в окошко, и внучек Лабашкина прокричал, что вода поднялась еще на полвершка. По всем приметам выходила длительная засуха, для хлебов хорошо, а для льдов...

— В волость, разве, в камитет...

— Во-олость... Соберут савет, таких же талегай, как мы, писарь резалюцию напишет, а она месяц до города пройдет, а через месяц-то вода будет на улках. А то из города приедут, инструктара какая там, заездят по страде лошадей, обожрут, да и видал их.

— Своими надо силами.

— Своими... — длинно вздохнул Лабашкин.

Тут опять строго заговорил Митрий Савин.

— Однако можно в городе и помощь кому деньгами там али чем оказать. Найти наших, которы на метал ушли, выменять у них пузырек металу, все равно в Китае дороже не дадут. И не монета, а лестно. Кто откажется.

— Да што они в лёдове понимают, што они могут доспеть, коли там сам бог больше... Надо такого человека, штоб с леритией подступиться мог.

И Лабашкин опять надолго умолк.

— Допоручить Мартыну, — сказал решительно Савин,— составить партию. Надо выбрать кого.

— Турукая я взял, — сказал Мартын.

— Турукая можно в пугало, а не в партию. Турукая ты для нашего веселья оставь. Окушков Егор победней всех.

Тюменец замахал руками.

— Не пойдет Егор, рыбалку и самогон любит. Ему бы воды побольше, он на воде и спать будет.

— Мир заставит — пойдет.

— Разве мир.

Митрий Савин загнул палец, — пальцы у него были длинные и сухие, как щепы.

— Значит, один есть, с Мартыном двое. Надо бы с металу, которы победнее, привести.

— Метал сейчас не бросят. Сейчас с гор вода двинулась, для промывки золота самое время.

— Тогда Семенова, он все советску власть хвалит.

— Семенов гундосый и храпит, скажут — пьяница, а то еще что похуже... Не допустят.

— Монополку-то сами ж открыли.

— Так это не для пьянства, а для апетиту.

— Оно и верно, — сказал Тюменец: — апетит, пока с ног мордой в канаву не летит.

Сидор Лабашкин неожиданно оказался смешливым, — долго, держась за живот, хохотал он. Наконец осел, вспотел и стал креститься.

— Прости ты, господи, грехи наши... Тилиграму послать в Москву, кто у них там главный, ему... так, мол, и так, тонем.

— Покедова проверят, все лёдово стает.

Мартыну надоело слушать, он стукнул кулаком по столу.

— Да што ж эта вы никому не верите! Я вам бабьи слова говорю, что ли? Я о бабах вам?..

Митрий Савин посмотрел на него спокойно и спокойно же ответил:

— Мы стогам верим да скирдам, да богу.

Потом все ж решили послать в город делегацию. Выбрали четырех, которые побородатей да похудее. Долго смотрели

на Мартына и, наконец, сказали, что может и он поехать, только чтоб был посмирнее. Пиджаки надели погрязней, долго разучивали, как вначале нужно хвалить советскую власть, как благодарить за благодеяния, за агрономов, за школы, за свободу религий, а позже добавить, что агрономы-то почти не заезжают, урожаи совсем плохи, а то ведь многое можно сделать при урожаях-то... И про тракторы, мол, слышали. А всему, мол, этому мешает наша темень, наступают на нас льды с белков, топят селение. Налогу не сможем заплатить, не говоря уже о тракторах. Нельзя ли помочь взорвать Оленью гряду, отвести поток в пустынную долину Талас.

*

На постоялом дворе в городе было грязно, прокурено, клопы не давали спать, а днем ходили какие-то слепые и продавали пакеты — по двадцать копеек пакет. Слепые были навязчивы, ругали мужиков буржуями. Потом пристал какой-то тощий человек в солдатской шинели и татарской шапке, в треснутых очках. Он пообещал, что если в совете ничего не получится, у него имеются нужные люди. Все ж нашли в совете необходимого человека. Сказали ему так, как решили в селе. Необходимый человек долго думал, послал к другому, тот думал не меньше, и оба, видимо, ничего не могли придумать. Первый спросил, порывшись в каких-то бумагах:

— Работников много имеете?

— Какие ж та работники, все сродственники, семьи опять большие.

— Но есть? Обсудим... — и велел притти через неделю.

«Взятку бы дать, — подумали мужики, — да страшно».

Пришлось ждать неделю, а там еще пять дней — через пять дней обязательно. Тем временем тощий человек в солдатской шинели привел другого тощего человека, армянина,

должно быть. Они написали за трешку два прошения и добыли откуда-то двух подрядчиков по подрывному делу. Подрядчики с карандашами в руках сели за стол, вынули из-за пазухи узкую книжку, разграфленную красными чернилами, и долго прикидывали на-уме. Поговорили в соседней комнате, еще посчитали и запросили за взрыв Оленьей гряды и вообще за «урегулировку» всего вопроса — три тысячи. Пятьсот сейчас, тысячу на месте, полторы тысячи после благополучного окончания работ. Старики крякнули и дали сто рублей. Подрядчики заявили, что обсерватория предсказывает грозы и бури, что на дворе уже падера — дождь и что другие и за пять тысяч не возьмутся.

А вечером прискакал из Ильинского Егор Окушков и привез два пузырька намытого подле болотца, за которым начинались гольцы, самого лучшего крупного красного золота.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В совете, перед двумя необходимыми людьми, Егор Окушков, тряся пахнущей рыбой шапкой, рассказал подробно, как его односельчанин Антип Скороходов нашел подле болота россыпь, как они вдвоем начали промывать и в первый же день намыли два пузырька. Пузырьки эти они решили подарить народной власти и ей же заявить об открытии новых приисков. Необходимые люди взволновались, из соседних комнат выскочили стриженые барышнешки. Тряся кудельками, они щупали пузырьки и взвизгивали. У Мартына от этого шума и оттого, что не он, а Антип Скороходов нашел золото, разболелась голова, поднялась изжога. Тут прибежали фотографы и сначала сняли Егора Окушкова, а потом и всех ильинских мужиков. Мужики кланялись, благодарили — и в тот же день поехали обратно.

А в городе после их от'езда стали рассказывать легенды о новых приисках — что будто бы какой-то поп намыл

в два дня золота на сорок тысяч, что сельский писарь вымыл самородок чуть ли не с лошадиную голову. В газете появилось об'явление, приглашающее не верить вздорным слухам, и оттого им поверили еще больше. Заскрипели телеги, направляющиеся к селу Ильинскому; беззаботные мечтатели, соорудив котомки, бросали службу и пешком направлялись в горы. По дорогам ночью горели костры, было несколько лесных пожаров.

Пришедшие на прииска останавливались подле поскотины, здесь их встречал Турукай. Он рассказывал необыкновенные события, был каждый день пьян. Хлеб и молоко в селе стали продавать втрое дороже, и бабы завели себе шелковые московские платки.

Затем приехали три молодых инженера, и в первый же день напились, собрали девок со всего села и неумело плясали русскую. Девки визжали, парни лезли обниматься с инженерами, жена Скороходова, Елена, не отходила от самого старого инженера в синих брюках и белой шелковой рубахе. Мартын прошел мимо гулянки раз — другой, никто не позвал его. Турукай блевал, нехорошо ругаясь, руки у него были почему-то в сметане. Инженер со Скороходовым и его женой (ехидно, как показалось Мартыну, виляющей бедрами), — ушел в избу.

Мартын дома застал полный порядок, — казалось, жена без него лучше управлялась с хозяйством. О партии никто с ним не говорил, не говорили и о золоте, один раз только жена упрекнула его:

— Как же так, Мартын Андреич, ходил ты, ходил, а метал-то нашли другие.

— Нету никакого металу, — закричал уныло Мартын, — врут они все! И себе врут. Бабьи разговоры, брехня...

А это походило на правду. Из Ильинского на приисках никто не работал, изредка старики ездили в город — будто бы продавать нарытое золото, а на самом деле гоняли

скот. Да и прибылью воды в озере никто не интересовался. Попробовал Мартын поставить измерительную вешку, подошел Митрий Савин и, тихо сказав:

— Не гневи бога, Мартынка, — вырвал вешку.

Потом строго посмотрел на него и спросил:

— У тебя... как ее... эта, партия-то сбирается?

«Сбирается!» — хотел крикнуть Мартын, а не мог. Он подергал только реденькими своими бровенками.

— Ты ужо, Мартынка, живи один, а то тоже — партия сбирается... Ботоло!

Отошел подальше, отвернулся и начал расстегивать штаны. Вода в озере была прозрачная, холодная. Мартыну тоже хотелось искупаться, но казалось, что Митрий Савин занял своим телом всю воду, что это озеро, а не Митрий Савин, крякает.

К белкам, к лёдову, на прииска ему не хотелось итти, да и ему ли верилось теперь в свое счастье. Попробовал походить с бродней по озеру и вытащил мертвого карася. От карася нехорошо пахло, и грязная чешуя осталась на ладони, как перчатка. Долго держал его в руке Мартын, даже не заметил, как выдавил глаза. Кинул его в озеро — и заплакал.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На Флора и Лавра почти совсем закончилась уборка и кладка хлеба, загородили остожья вокруг хлебных кладей и зародов сена. Глянцовитые березовые жерди остожий, казалось, дрожали, как опояска на туловище тучного человека, полевые мыши от'елись так, что с потом влазили в свои норы. Разгородили поскотину, и на Флора и Лавра скот весь день отдыхал. Сделали очистку скотных дворов, поправили постройки. Мужики начали осматривать сани, пошевни, плести короба и пестери для возки мякины.

Ничего словно и не случилось в Ильинском. Вода из озера вышла почти на улицу, приходилось, как в весеннюю грязь,

итти вдоль завалинок. Колеса уходили кое-где по спицы в воду.

— Тепла ж, — говорили мужики нехотя, — тепла ж, хоть и из лёдова идет...

А Мартын так и на поле не заглядывал. Нехотя пришли мужики на устроенную бабой помочь, отработав — не остались даже на паужин. Мартын, когда увидал пришедших мужиков, их походку, тихие злые голоса, — даже Турукай-Табун, и тот отворачивался, — опять заманило его в горы. Баба справилась почти одна со всем полем. Один раз только Мартын нарубил ей сухостойных дров для сушки снопов в овине. Баба остригла овец, выбила луком шерсть и начала катать потники. Кисло запахло в избе...

— Заели вы меня, — сказал Мартын, а баба ничего не ответила.

Широкая отводная канава по ту и по эту стороны высокого холма, загораживающего сток вод в долину Талас, была готова, и на воскресенье приисковые люди назначили взрыв середины холма, загораживающего соединение канав, взрыв тех пород, которые было трудно и долго бить киркой.

Как и тогда, когда он впервые увидал вытекавший из ледника поток, Мартын надел лучшую цветную рубаху, взял за пазуху ломоть хлеба и направился в горы. Главную улицу, затопленную озером, нужно было обходить, да и никто не встретился Мартыну: с раннего утра почти вся деревня, кроме самых ветхих стариков, ушла в горы, к холмам.

Как и тогда, шумели на кладбище березы, легкая дымка стояла над горами, и только, словно вспарывая долину серебристо-синим ножом, несся через Святой Овраг, через поля неизвестный ледяной поток. А когда Мартын обогнул болото и вспомнил, что сегодня потока не будет, завтра и послезавтра вода в озере пойдет на убыль, озеро встанет в свои берега, на токах загремят цепы, и громадные телеги, кованные железом, повезут зерно в город, — засосало у него

опять сердце. А поток по гольцам, казалось, понимая свои последние часы, несся с тоскливым грохотом, фыркал пеной и голосисто ржал в березняках. Мартын постоял, посмотрел. Юркая синичка дрожала на камышке. И тогда Мартын с ясностью до боли припомнил эти месяцы, свою короткую славу и власть и то, что он ничего не мог сделать из этого,— получилась только одна мужицкая злоба к нему да вконец разоренное хозяйство. Опять чувство тоски до слез охватило его сердце.

Зачем ему итти к холмам? Мужики посмотрят на сбегающий в долину Талас ледяной поток, меж собой одними хитрыми глазами рассмеются над глупым городским людом и разойдутся. Позже и городские уйдут, останутся одни Тиляшские неприступные скалы, за ними — ледники, готовящие к осени метели...

Мартын вернулся к опушке болота. Сонно трепетали осины листьями, пьяной сытостью пахло из болота. Мартын сел на поваленную осину, спустил ноги к потоку. Зеленая ящерица осоловело заметалась между камешков, среди его ног. Он злобно каблуком отдавил ей хвост. Хвост остался трепетать, а ящерица скрылась. А деревья в болоте все хлопали и хлопали, словно уходящие-входящие в комнату дверью. Мартын сидел и думал все о том же. Он зажмурил глаза, — поток булькал водой, будто наливался в бутылку. И Мартын вспомнил, что за все это время он ни разу не напился пьяным... Надо бы уйти, лечь спать дома, что ли, но где-то внутри была еще надежда, что спускающиеся с гор мужики остановятся подле него и кто-нибудь скажет: «Ну, спасибо тебе, Мартын, все ж много ты доспел для общества»...

Зеленые тени листьев были у его ног, затем поползли по лицу за спину и, наконец, совсем скрылись. Небось, уже давно за-полдень, обедать пора. И в это время маслянистый какой-то гул донесся с ледников. Поток словно колыхнулся, а затем зажурчал еще сильнее.

— Чорта взорвете! — сказал Мартын со злостью. — Смыло бы вас лучше, как щепки, небо коптите только...

Что-то темное и высокое мелькало среди осин. Мартын пригляделся. К нему, выбирая места посуше, спешил какой-то человек. Позади, быстро махая ручонками, бежал мальчишка.

Мартын вытянул шею, мотнул головой и грубо выругался. Это была Елена. Должно быть, она давно не бывала в горах или же радовалась, что пятилетний сынишка, как большой, не отстает от нее. Лицо ее пылало румяным удовольствием, платок она держала в руке, и льняные, былинные косы были страшны, как ледники. Как шиповник-колюка на вилах, а одета в багрянец.

— Чего сидишь там?! — крикнула она издали еще Мартыну. — Домовничать осталась, да в деревне-то, будто в колоде — тихо. Мотька зовет: пойдем, мамка, да пойдем, — ну, и пошла... Верно я иду-то?

— Верно, — хмуро ответил Мартын, отворачиваясь. Туда и дойдешь, иди. Ждут тебя.

— Ты что ж на бревне-то уселся? Я думала — водяной или горовой. Колдуешь все...

— Нога подвернулась, — соврал Мартын. — Да все равно у них ничего не выйдет.

— Не выйдет? А сколь хлопотов убухали да металу.

— Металу?! — удивленно спросил Мартын.

Елена поняла, должно быть, что сказала лишнее. Она ни с того, ни с сего наклонилась к его ноге.

— Я ведь кое-что в костоправстве мерекую... Дай, пощупаю, кость-то цела?..

Мартын увидал ее пухлый, розовый, слегка влажный затылок, крутые плечи. Складки сарафана показались ему мокрыми; башмак у ней со щеголеватым высоким каблуком поднялся над землей. Притихло как-то все внутри Мартына, и он тогда взглянул на поток. Вода журчала тише, синие

мокрые гальки на пол-аршина обнажились вдоль берега. Более крупные уже обсыхали.

Взрыв, значит, удался! Поток, значит, повернул в долину Талас.

И Мартыну почудилось, что он закричал — и испуганно и насмешливо. Он было и руку протянул ко рту — прекратить этот крик, — но рука и волосы были словно из металла... И вдруг он вспомнил, как мужики шептались с неизвестными шатунами из приисков; как однажды он встретил трех стариков, ехавших на трашпанке в горы — лица у стариков были жадные и потные, руки их крепко охватывали шкатулку, прикрытую половиком.

Соленый пот злости наполнил его глаза. Он зажмурился.

— Отвели? Из-за баб отвели, кобылье! А кто указал? А?..

Захотелось пить. Ноги были тяжелые. Крутая шея и затылок с жирной складкой, склонившиеся к его ногам, словно взывали о жалости, а о какой и к кому — он и думать не мог... И он, понимая, что думать так нехорошо, глупо, — все ж подумал, что теперь только Елена поняла, сколько она горя причинила ему, как испортила жизнь, какие принесла обиды, — и готова всячески наградить его. Ее широко расставленные ноги лениво и в тоже время торопливо шевелились, выбирая место помягче. Казалось, дотронься до нее пальцем — и она упадет, но дотронуться не хватало сил, и было проще и легче пхнуть ее, дабы под сапогом почувствовать испуганное поганое мясо бедер! Мартын взглянул на ладонь, и то, что она была грязная и сухая — это даже обрадовало его. Он плюнул в пальцы и, весь трепеща от испуга и от какой-то непонятной радости, со всего размаху ударил кулаком Елену в розовый ее затылок. Кулак скользнул на шитье сарафана. Елена охнула, опрокинулась. Мальчонка завыл: «Ма-амка!..» Мартын наотмашь левой рукой ударил ее по лицу, а правой изо всей силы пхнул мальчишку за пень в траву. Елена привстала было, горло ее напряглось. Мартын

схватил ее за косу, обернул вокруг шеи и притянул косы к березовому суку. Глаза у ней закатились, она захрипела.

— А, будешь, будешь!.. — визжал Мартын, увивая косами сук.—Будешь перед каждым вилять? Я тебе колода? А?..

Холодная и какая-то тяжелая влага выступила у него на груди, сухой жар хлынул в ноги, и, путаясь в тряпках, захватив зубами косы, обвитые вокруг сука, Мартын дернул ее за ворот сарафана. Ситец казался необычайно крепким, а в пальцах расходился, словно вода.

Мальчонка визжал в кустах: «Ма-амка!..» Тряпки пахли нехорошим потом, и странно было видеть на лице у этой красивой сильной бабы испуг и трепет и его, Мартынову слюну.

Потом баба, неприятно расставив ноги, долго ползала вокруг березы, распутывая с ее сучьев свои косы. Большой клок волос, потемневший от слюны, остался на коре. Баба, схватив разорванный сарафан, как в мешок, уталкивала в рубаху огромные белые груди. Медленно локтем стерла с лица слюну и тогда завыла:

— Ой, матушки, ой!.. да што это-о!.. ой!..

Мальчишка визжал гуще ее и как-то жалобнее. Кончик носа у него был красный, и тут только заметил Мартын, как он походит на мать.

— У, падаль! Лезет, тоже, — сказал Мартын и пошел к потоку умыться.

В ложе потока, во впадинах остались лишь редкие лужицы. Вода показалась ему удивительно теплой.

Баба, нелепо тряся задом и путаясь в юбках, бежала вверх. Мальчишка, смешно приседая, спешил за ней.

Мартын опять сел на бревно. Жар остался в пальцах, ему ничего не думалось, и только почему-то жалко было, что он умылся. Он все соображал — и было такое чувство, будто он истратил последнюю воду. Пить к тому же хотелось, а тут нахлынула такая слабость и дрожь, какой он не испытывал никогда.

Огромная тишина повисла над пустым ложем потока. Казалось еще, что по невысохшим галькам скользит багровый осиновый лист, попрыгивает, лепечет, но все бесшумно и все зря. Мартын закрыл глаза, и многое в этом мире качнулось перед ним.

Протяжно прокричала иволга, и Мартын подумал: «Похоже, мужики спускаются»...

Мужики действительно, молча, держа руки за опоясками, спускались по гольцам.

Они остановились в нескольких шагах от Мартына плотной толпой. Кто-то из них дышал тяжело, со свистом и часто сплевывал. Мартын тупо открыл глаза и положил почему-то правую руку в карман. Вышел вперед Скороходов, скинул кафтан, обшитый по борту и по вороту треугольниками.

— Ну, бей, — пробормотал Мартын: — Бабы жалко? Бей.

Скороходов побледнел, поднял руку словно для приветствия и нехотя проговорил:

— Што ж тебя бить... за што тебя бить...

Мартын зажмурился, качнулся. Так же, будто нехотя, Скороходов прошел мимо него и вдруг, быстро обернувшись, ударил Мартына в переносицу. Желтый, как смола, свет лизнул Мартына в затылок, он схватился за грудь.

— Не надо, — сказал какой-то лысый, изъеденный оспой старик.

Из толпы спокойно отозвались:

— Проучить не мешает, из-за него металу сколь потратили... Ты ему, Семен, за метал-то...

— А, за метал! — взвизгнул вдруг Скороходов. — Калдун. Сколько денег из-за тебя... Животины сколь погибло...

Мартын только жадно хватал ртом, будто не мог напиться. Скороходов наклонился, схватил в руку гальку. Жидкая как будто кровь брызнула из щеки Мартына.

— Та-ак его! — крикнул лысый старик и, подпрыгнув, с разбега ударил Мартына в грудь.

Мартын заревел каким-то телячьим ревом и так не переставал реветь он, пока его били сначала кулаками, затем подхватили и, подкидывая в воздух, бросали спиной на гальки. Голова мокро стучала, руки мотались — белые и слишком сухие. Лысый старик начал топтать ему руки, а затем крякнул и прыгнул на живот. В животе тоже нехорошо крякнуло, грязная жижа потекла из рта Мартына, а он все еще ревел нелепым своим телячьим ревом. Лысый старик топтался уже по голове, скользил с нее, словно с мокрого камня, а рев еще не прекращался. И здесь молодой курчавый парень, до того стоявший в стороне и больше всего оравший: «В морду ему, в морду!», взял продолговатый камень, оттолкнул старика и, прищурив глаза, ударил камнем Мартына в висок.

Когда Мартын стих и перестал даже подергиваться, лысый старик вытер пот, оправил рубаху, перекрестился:

— Миром согрешили, миром и отвечать.

— Миром, — качнул головой курчавый парень.

Елена ж все время сидела на бревне, где недавно еще сидел Мартын. Мальчонка прятал у нее в подоле плачущее лицо. Волосы у нее были плотно убраны под платок, глаза сухие и ожидающие, и смотрела она поверх мужиков. Когда Мартын выпрямился и курчавый парень вынул из рта искусанные им пальцы и руки сделал ему крест-накрест, Скороходов подошел к ней, покачал головой и вдруг со всего размаха ударил ее в глаза. Она опрокинулась за бревно и долго лежала там, пока не ушли мужики и пока мальчонка не переревел весь свой голос. Тогда она оправила платок, взяла мальчонку за руку и стала спускаться в долину.

Долина опять наполнилась плодородной тишиной; опять на жнивье гоготали сытые гуси, и опять месяц в озере был тепел и походил на каравай, только что вынутый из печи.

СМЕРТЬ САПЕГИ

Степь весной — как толчея: стучит, бренчит, вертится. Ковыль на каждом пригорке шипит по-своему. Солончаковые озера звенят, как тарелки в веселом оркестре, и над ними журавли и утки поддерживают халцедоновое, с яшмовыми прожилками небо. А вечером небо походит на вишню, и штыки наших винтовок были цвета черного шерла.

О штыках наших винтовок я думал с угнетающим волнением.

Я отстал от полка.

Наш полк, состоявший большей частью из мадьяр и сербов, шел югом Барабинской степи. Мне было скучно в нем. Мадьяры были наполнены какой-то не понятной мне заботливой храбростью. На разведку в не известную им местность они шли, как голодный на обед. Возвращались словно с головокружениями — такие у них были глаза. Мне казалось: так поступают они из презрения к нам, к русским, у себя на родине они не были б столь храбры. Все то время казалось мне их бесстрашие мимовольным...

И вот опять в вишневом небе я нашел черный шерл наших русских штыков.

Подле крохотной речушки Усяцкой встретил я Омский батальон профсоюзов. Командовал батальоном Вася Колесников — щеголь, бабник, весельчак; позже он погиб в памятное восстание на Куломзине. Раньше, до революции мне

пришлось работать с ним в типографии, — он был метранпажем. Помню, было испытание: новый метранпаж должен выпить двадцать семь рюмок водки, и если на двадцать седьмой отличит нонпарель от корпуса, значит годен. Васька не отличил — и точно, плохой выдался из него метранпаж. Позже мне довелось сменить его, а его перевели на афиши,— и афишером он был плохим.

Зато комиссар из Васьки вышел великолепный — веселый, находчивый; батальон свой он вел по степи и на бивуаки ставил, словно коробку папирос откупоривал, — чистые, опрятные, свежие. Так вот, секретарем у этого Васьки Колесникова был Аника Сапега.

Где он ухитрился захватить столь удалое имя и еще более — великого гетмана — фамилию, мне так и не удалось узнать. Сказал я ему как-то о гетмане, Аника быстро пощупал голову (так — я заметил — щупают голову боящиеся себя люди) и спокойно сказал:

— Ежли по характеру судить — родственник, хотя папаша мой и не упоминал о родстве. Папаша-то мой похвастаться любил. Говорил же, вон, твой папаша, что отец-то его — туркестанский генерал-губернатор.

Дня через три возобновил он разговор о гетмане. Аника был назначен командиром третьей роты, и меня перевели туда — заведывать продовольствием. Я думаю — настоял о моем переводе Колесников: человек он был самолюбивый, трудно было ему примириться, что рядом с ним идет лучший метранпаж, хотя никто во всем полку и не слышал никогда слова «метранпаж». Заведывать продовольствием казалось мне унизительным долгом, и я сказал Анике, что по матери предки мои — польские конфедераты.

— Человек — как топор, друг: в лес идет — назад глядит, из лесу идет — в лес глядит. Потому я всех этих притчей о прошлом-то и не люблю. Мне, друг, на предков твоих да и на своих, по пути, плевать...

Сапега вытянул по кошме костлявое и какое-то плоское свое тело, спокойно посмотрел на озеро, спокойно налил чаю из медного котелка. А я чаю не мог пить: когда мы под'ехали к озерку и сухие, залоснившиеся от травы ободья колес, казалось, зашипели в солонцах, лошади отказались пить. Подумали — вода очень соленая, попробовали нет. Озеро мелкое, начали искать палками — и нашли пять трупов с камнями на шее и на коленях. По черному волосу и по усам можно было узнать мадьяр. Невдалеке находилось богатое село; отстали, вроде меня, зашли выведать дорогу, а их мужички и направили туда, куда казалось мужичкам выгоднее.

Вишневая весенняя рябь была на озере, черный шерл наших винтовок отражался в ней и похож был на камыш, солончаковая полынь цвела вишневым небом.

— Плевать мне на всех предков вплоть до седьмого колена — дальше мне не доплюнуть. Я сам хочу предком быть, и очень просто — не придется. Вчерась меня Колесников вызывает и говорит: «Дошли до меня проверенные слухи, Аника Сапега, что ты буржуазных женщин валишь и насилуешь при первом подходявом случае». Я ему отвечаю, что никаких насилий нету, они сами согласны со мной при первом и подходявом случае. «Смотри, — отвечает мне Колесников, — смотри, Аника Сапега! Ты несмотря на мою дружбу и что назначили тебя по моему настоянию командиром третьей почетной роты, я очень просто могу тебе в башку пулю всадить». И сади, отвечаю я ему, только в морду не бей, крой в затылок.

...На тем разговор и кончился. А теперь слухи пойдут непроверенные, что я по мере врывания в буржуазную заимку начинаю немедленно баб искать. Сволочи!..

...Тут вот в стороне заимка Козловских есть, верстах, небось, в ста отсюда. Я под ихней заимкой родился и рос, а позже батраком на ту заимку попал. Парень я был взрос-

ный, в восемнадцать лет горел и сох, а тепло-то внутри, как в избе, — не видно. К концу лета на страду в заимке народу много нанимали. С'ехались бабы, девки. Груди у баб в этих местах, как стога — и запах и мягкость. Ну, и замучили эти запахи. Валяются ночью по соломе, по колодцам, по телегам, — скрип и гам не меньше, чем днем. Днем лошади в хомутах ходят до седьмого поту, а ночью бабы. Не нравилась мне эта прилюдия, и не нравилась по той простой причине, что на меня ни одна баба не смотрела!

...Парень я был здоровый, да застенчивой, што ли. Необразованность наша и забитость. Запустил бы это руки, думаешь, а дальше своего носа, смотришь, и не уйдешь. Схвачу иную бабу, два часа подхожу, бывало, а она наотмашь — и прямо в рыло. И так обидно, что даже живот заноет.

...Стряпуха там водилась, Параскевья-Понедельник по прозвищу. Такая грязная и конопатая, чисто свиное корыто... никто на нее и не зарился. Шел это я по кухне как-то, она в печь чугуны ставит. Посмотрел я на масляницу-то ее... эх, думаю, да что там рожа, не с рожей жить, а с человеком! Заиграл во мне весь инвентарь, что восемнадцать лет хранился. То ли она рассердилась, что не вовремя полез к ней, то ли даже и ей, корыту свиному, не понравился... как она обернется да как хватит ухватом меня в живот, в ту ли самую мою бабью боль. Ну, тут и, значит, не вытерпел уже, тут я полный кулак грязных ее волос надрал.

...А она о том происшествии моем всем и расскажи. Обедали все в сарае, столище на пятьдесят человек, так от смеху словно шарф трясется. Девки, может, современем бы и привыкли ко мне и, как-никак, сжалившись, удостоили бы... ну, а после такого случая — хи да ха, да изголянье... У меня от того случая судороги начались, и на теле рябь выступила. На бабу посмотрю, и вдруг вид

из себя стану такой иметь — ну, хоть в тулупе ходи. И сны замучили, и чудные все сны: голые бабы всё и всё зря, никакого поражения им не было... И кончались те сны таким образом, что быдто я бревно, и везут меня в жару по тряской дороге. Мученье страшное! Я в одну ночь чуть было передок телеги зубами не перегрыз, ладно — в рот деготь попал.

...А стряпуха за мной все следит. Хитрая, стерва, была, и всё непонятно зачем за мной ходила. А у меня совсем, должно быть, помутнение головы получилось. Одним словом, идет мимо току стряпуха Параскевья-Понедельник, я на току задержался, лошадей из молотильного круга выпрягал, и пришло мне в голову...

...Одним словом, посмотрела она на меня — и к барину. «Так, мол, и так, иду, мол, мимо току, а Аника бог весть что приспосабливает». «Что же он приспосабливает?» — спрашивает барин. «Да, — отвечает стряпуха, — и язык не поворачивается. Выпряг кобылу Флору, скамеечку подставил и лезет по той скамеечке»... Ну, барин, естественно, закричал, усами зашевелил, схватил со стены мушкет какой-то старинный. А на дворе уже стемнело. Впереди идет лакей с фонарем, за ним стряпуха, а позади стряпухи с мушкетом наперевес сам барин Козловский.

...Приходят на ток, а преступник, я-то, выходит, услыхавши те крики и беготню да и огни в неурочное время, одним словом, скрылся. Валяется на току скамеечка, да хлопает ушами Флора. Посмотрел на эту беззащитную Флору барин, заорал что-то непонятное по-французски и хлоп ее из мушкета в ухо.

...Искали меня, искали — всё бесполезно. Под утро случайно парни наткнулись. Сижу я это у яра и в реку смотрю без веселья. Они подойти боятся, издали кричат: «Конец твоей жизни, Аника! Одно остается — кидайся с яру в реку и топись немедленно». — «Ну, — отвечаю я им, — коли уж

я не утопился до этого, то теперь, поняв смысл жизни и ее запретные наслаждения, я не утоплюсь, а буду я»...

...И сам не знаю, кем я могу быть. В разбойники уйти? Да где тут разбойники — степь кругом голая, как пятак, каждый кустик у стражников на учете, да и инструменту у меня — палка да моргалка. Одним коротким словом, пошел я в город, претерпевая мученья бегства, оттуда вскорости пришлось на войну попасть, а оттуда...

Аника выпрямился, сделал грудь колесом, зашевелил бровями, — и я понял, что сейчас он начнет хвастать.

— Наврал ты мне, Аника, — сказал и рассмеялся.

Аника раздраженно вырвал пук полыни, размельчил на ладони землю и вдруг выронил землю прямо на кошму.

— Куды, друг, наврал... Кабы наврал, самому бы хохоту на три дня хватило. Правда всё сплошь, как полынь вот тут подле озера...

Он посмотрел пристально на меня и хрипло сказал:

— Убьет меня скоро Колесников, и за дело убьет, не в затылок, а в морду. У меня предчувствие есть. На меня как забота найдет, так и получается предчувствие. У Васьки-то характер разнообразный... И судить меня нельзя, придется убить без товарищеского суда, единолично.

Он собрал землю в костлявую и тонкую ладонь и веером раскинул ее по полыни.

— Соленая земля, а вот, поди ты, для полыни и благодать. Я это, когда при первом подходящем случае доберусь до барского нутра, лежу с барыней, и голова-то, мне кажется, как пузырь, раздуется от крови, и мысли-то перепутаются, растут, как трава в тундре... и какие-то багровые, друг. Лежу и чуть не ору прямо: «Смотри, Аника, куда ты заехал, на какую высоту!..» И от такой моей крови и гордости барыню-то от меня потом хоть на носилках убирай. И не жалуются, знаешь.

Он быстро тронул меня в голову, отшатнулся и захохотал.

— Ей-богу, не жалуются. Может, даже довольны. А как я могу на суде товарищам смысл первого подходявого случая об'яснить, если надо по долгой мысли и по тайне об'яснять. Убьет меня Васька Колесников.

— Пожалуй, убьет, — согласился я.

Аника задумчиво выбивал пальцем из кошмы травинки.

— И помирать-то неохота. Главное, зря вся эта болтовня, непроверенные слухи, а поделать ничего нельзя.

Тут к кошме подбежал вестовой, подал записку Анике. Аника лежал на животе, долго читал ее, а затем передал мне. Колесников — пером «рондо» (слово «распоряжение» было выведено под готический шрифт) — отдавал распоряжение: что, ввиду поступивших сведений и приближения чехов «в лоб» нашему отряду, собираться и двигаться в северо-западном направлении к долине реки Уймона и к озеру Сарыкуль.

Аника тщательно сложил бумажку и некоторое время думал — положить ли ее в правый или левый карман френча. Устало повертел ее в руках и положил в левый.

— Я тебе говорил али нет про заботу-то свою с предчувствием?.. Вот и выходит: итти нам прямо на заимку того проклятого барина Козловского, с которого и началось мое сотрясенье. Барин там живет, а при нем офицерская жена за сыном. Сын-то Козловского у белых... Тут мне и конец. Ну, одним словом, надо сбор трубить.

Через двое суток кончились солончаки, и мы вступили в березовые колки, а дальше начали встречаться нам матерые дубровы, где березы были в два обхвата, у подножий их росли густо опенки, а в дуплах гудели шмели. Помню, поймав такого бархатного шмеля, Аника сказал, что через трое суток будет заимка Козловского, и положил шмеля в кисет. В деревнях мужики встречали нас неприветливо и,

если спрашивали: «За какую вы власть?» — отвечали: «Властей теперь много ходит, у нас теперь власть покосная». И точно — пора бы и косить. И вот в полдень так увидали мы среди березовой рощи на увале барский дом: розовый, с нелепыми бронзовыми завитушками над окнами. Низкая кирпичная ограда почти вся ушла в крапиву, а над чугунными воротами резвевалось бело-зеленое сибирское знамя. Увидали мы неумелые окопы; пятеро каких-то необыкновенно низеньких людей выскочили из них и, подпрыгивая, побежали к воротам.

— Это и есть Козловского? — спросил я у Аники.

— Козловского дальше, у Козловского мы завтра будем, а это есть заимка генерала Стрепетова.

Красногвардейцы привели пойманного в коноплях за рощей парнишку. Парнишка сбирал землянику и больше всего боялся, как бы ее не отняли.

— Генерал-то здесь? — спросил Аника.

— Здесь, — ответил торопливо мальчишка.

— Семья тоже?

— Чо?

— Бабы есть?

Парнишка поправил лопух, прикрывавший ягоды, и сочувственно улыбнулся.

— Баб тут сколь хошь. Вы на подмогу им, чо ли, генералу?.. А-а!..

И тогда-то в речевую дорогу Аники ворвались нечленораздельные вопли и крики. Его плоский и широкий рот, подернутый мутной слюной, почти не закрывался. Фразы и слова, прорывающиеся через вихрь воплей, были наполнены неисотвой бранью; дыханье смешалось, и густой пот выступил на висках.

Нашей роте суждено было итти первой, и Аника вел ее бесстрашно и дико. Многие бы мадьяры — мелькнуло у меня в голове — позавидовали б его храбрости.

Я не люблю сражений и боюсь, но есть какая-то прелесть бежать с винтовкой по полю. Незрелая пшеница вьется в ногах, влажная земля прилипает к ладоням. Матерые стволы березовой дубровы виднеются вдали, и кажется — пуля летит в тонкий крест колоколенки. Если помирать, так помирать, приложившись ко кресту не по-отцовски!

Ружейные залпы бело-зеленого знамени скоро прекратились, и только с крыши усадьбы неистовствовали два пулемета. Мы винтовками выбили ворота — не по нужде, так как достаточно было сшибить замок, а для большего страху. Во дворе среди телег, нагруженных разным хламом (готовились к бегству), метались куры, неистово лаяли собаки; на свежих тесинах, привезенных, повидимому, для починки погреба, у самых дверей лежало бело-зеленое знамя, и какой-то длинноволосый человек в очках стоял подле него, высоко подняв вверх руки. Рукава пиджака были необыкновенно коротки, и стало вдруг почему-то необычайно жаль его. Помню, я крикнул, пробегая вслед за Аникой: «Опустите руки», — и он не опустил. Аника, потрясая наганом, спросил что-то у толпы сдавшихся людей и вдруг самого упитанного, в капитанских погонах, ударил кулаком в зубы. Капитан упал больше со страху, чем от боли. Толпа, словно одной рукой, указала Анике на веранду. Он запахнул полы шинели, качнулся, отхаркнулся и медленно, словно вспоминая затерянные слова, приказал мне переписывать пленных:

— А с хозяевами я сам. Сам... поговорю...

И опять беспорядочно понеслись над его телом беспокойные его руки. Я поспешил за ним. Завизжали половицы веранды. Там встретил нас высокий старик в длинном генеральском сюртуке с сорванными эполетами, рядом заплаканная старушка мяла шаль, несколько впереди нее дочь — смуглая девушка лет девятнадцати, востроглазая, хохотунья, должно быть. Она была в сереньком ситцевом платьице и в крошечном шелковом передничке, — может быть, перед са-

мым нашим приездом разливала чай. Аника схватил старика — его плоская рука как бы заменила сорванный эполет — и толчками повел его в кабинет. За ним кинулись мать и дочь. Вытирая потный лоб и дергающиеся веки, Аника оттолкнул меня от дверей кабинета — и через полминуты вышел оттуда. Девушка, чуть вздрагивая головой, направилась вперед по коридору. Окна были большие, и солнце было большое, — шаги ее казались какими-то прозрачными. Он вдруг обернулся ко мне, мотнул револьвером и завопил:

— Ты што здесь, ты што?!

Он весь трясся, губа его над далеко выдающимися передними зубами (в народе так называемый «собачий прикус») взметнулась. Едва ли он узнавал меня.

— Пойдем обратно, Аника, — сказал я, весь тоже дрожа.

— Не смей, стерва, командовать!.. Ваську поди зови, Ваську... А ты кто такой?

Девушка обернулась, ровная спичка бровей зажглась над ее лицом. Аника кинулся в распахнутую дверь. Белая пушистая кровать, коричневый ночной столик и развернутая книга на нем — мелькнули у меня перед глазами. Шелкнул замок — и белая солнечная тишина на мгновенье нахлынула в дом.

Ручка двери была круглая, из синего стекла, и очень неловко было за нее дергать — казалось, словно дергаешь за трость. Я ударил каблуком в дверь, — рев донесся из спальни. Я начал стучать кулаками, — раздался выстрел, женский визг, очень короткий и очень спокойный какой-то. Пуля вышла на четверть выше моей головы.

И тогда я решился на последнее.

— Аника! — закричал я. — Аника, зачем ее обманываешь?.. Генерала бьют... ребята генерала бьют...

И чем я больше кричал, тем темнее становилось в коридоре. Мне казалось — крик мой доносился издалека, но вско-

ре к нему присоединился неистовый женский визг. Но вот — топот прекратил мой крик. — Казалось, шли одни винтовки.

Я разглядел красноармейцев и впереди их Ваську Колесникова; он был в новой кожаной куртке, ремешок бинокля висел у него через плечо. Щеголевато, одним пальцем указал он на дверь спальни, красногвардейцы ударили в дверь столом, и мы увидали посреди девичьей кровати лежащего на спине Анику. Он был мерзко расстегнут. Угловатые его колени поросли рыжими волосами, а на груди с левой стороны гимнастерка медленно тонула в крови. Подле опрокинутого ночного столика лежал окровавленный бронзовый нож нелепой формы, похожий на огурец. Аника был мертв, убит. Не доехал Аника до своего предчувствия, не видал он заимки Козловского!

Женщина, завернувшись до горла в пикейное синее одеяло, лежала комочком в огромном кресле. Складки полотняного чехла поднялись вверх, и можно было разглядеть муаровую розовую обивку, расшитую почему-то серебряными нитями.

А Колесников, держа одну руку в кармане, говорил женщине:

— Пролетарское правосудие знает, кого карает, и оно умеет щадить, гражданка. Напрасно вы пошли на его вымогательство и на обещание сохранить жизнь вашим родственникам, которое есть сплошной блеф. Идите к родителям, они там ревут, думают — убили вас тут.

Она, все так же завернутая по горло в одеяло, встала и пошла. Походка и лицо ее были иными. Мы отодвинули к стене наши винтовки, чтоб дать дорогу — матери.

Вдвоем с Колесниковым отвезли мы в степь тело Аники и зарыли на пригорке. Колесников не сказал ни слова, я крепко пожал ему руку, и он понял — за что. Батальон пошел дальше, генерала Стрепетова и его помощников по

защите заимки отвезли в город. Опять пошли травы, солончаки, полынь, степь.

А несколько лет спустя наткнулся я на Люблинском проспекте города Омска на женщину. Было у ней строгое лицо, прямая, словно в смертельной тоске сотворенная фигура, одета она была очень скромно, а впереди, вырываясь из тонких рук ее, несся вперед мальчик. Он был плоский, костлявый, с далеко выдающимися вперед зубами, что в народе у нас зовут «собачий прикус», и была у него походка Аники...

Она не узнала меня, и я не остановил ее. Да и зачем?..

ЯИЦКИЕ ПРИТЧИ

1. ПРО ДВУХ АРГАМАКОВ

С крутых яров смотрелись в сытые воды Яика ветхие казацкие колоколенки. Орлы на берегах караулили рыбу. Утром, когда у орлов цвели, словно розы, алые клювы, впереди парохода хорек переплывал реку. Воссожалел я о ружье, низко склонившись к перилам и разглядывая его злобную рожу. А он, фыркнув на пароход, осторожно встряхивая с лапок капли воды, юркнул в лопушник.

Великое ли диво — пароход? А в этом году впервые за всю свою жизнь видит славный Яик гремучие лопасти. А тянется этот Яик от Гурьева до Оренбурга — больше чем тысячу верст, и до сего лета не допускали казаки на свою реку парохода: рыбу, говорят, перепугают. И довелось мне видеть, как целые поселки, покинув работу, бежали смотреть на пароход.

Старуху одну в зеленом казакине полной семьей вели на пароход под-руки. Надо было старухе ехать в Уральск лечиться. Крепко боялась старуха парохода, истово крестилась при гудках и с великой верой взирала на ветхие колоколенки.

Долго не хотела говорить со мною старуха. А потом, когда рассказал я ей, какие у нас на Иртыше переметы, стала она меня учить, как правильно рыбачить и какая

должна быть «кошка» у перемета. Попутно выбранила сибирских казаков и к вечеру уже, когда и колоколенки и яры скрылись в лиловом, пахнущем полынью и богородской травой сумраке, поведала мне Аграфена Петровна семейную свою притчу.

Ты ведь, поди, нашего хозяйства не знаешь? А наше хозяйство, по фамилии Железновское, известно по всему Яику. Иль-бо от Разина, сказывают — великий он колдун был, иль-бо от чего другого, прадед наш, Евграф Железнов, развел аргамаков. Таких аргамаков развел, что из Хивы приезжали и многие тысячи платили за породу. Табуны наши были в сколько сот голов — уж не помню. Мать моя, царство небесное, сарафан обшивала по вороту индицким зерном-жемчугом, а дом у нас кирпичный двуетажный и под железной крышей.

Детей? Детей у меня много было, все больше девки, а парня уродилось два — Егор да Митьша. Егор-то русой был, на солнце, бывало, отцветет, что солома, а Митьша — черный чисто — кыргыз кыргызом. Разница меж ними в двух годах была, а учиться довелось им вместе. И по хозяйству все тоже вместе держались. Вот перед тем как Егорше в лагеря итти, «сам»-то и подарил им по жеребку наилучших ног. Он, царство небесное, в ногах беда как понимал — лучше самого хитрого цыгана. Егору дал Серко, а Митьше — Игреньку.

И выросли те жеребята, как сказ. На войне, говорили, на смотру герой Радко-Дмитриев оглядел наших аргамаков и Егорку спросил: «Каким, дескать, овсом кормлена такая чудесная лошадь?» — «Нашим, грит, яицким». И велел генерал записать ад'ютанту про тот овес, чтоб кормили им любимого генеральского коня.

Сколько раз казацкую жизнь спасали кони — я уж и запамятовала, а только раз на том коне Митьша полко-

вую казну вывез из немецкого плена и получил за этот подвиг два Георгия.

Осенью пустили их иль-бо самоволей приехали — не знаю уж. Подойти к ним тогда было — чисто сердце открывалось. Ходят по двору, один — вправо, а другой — влево. А как сойдутся, так Митьша крестами на груди трясет и кричит: «Царя, мол, отдаю, а веру мою не тревожь! В церквах, грит, не позволю конюшни доспевать. Имущество, грит, с кыргызами да с другими собаками делить не хочу».

И почнут кричать, будто не братья, а бог знает кто. Я поплачу, поплачу, свечку перед образом зажгу: «Утиши, господи, их сердца» — молю. А самой всё-то непонятно, всё непонятно: как? из-за чего? Шире-боле — я уж говорю Митьше: «Разделить вас иль-бо што?» А тот: «Не хочу, грит, добра зорить». А Егор, тот кричит: «Все народу отдам!» И в кого он уродился такой заполошный — весь поселок понять не мог.

Тут еще одна беда, — Егорова молодуха собою красавица была: лицо — чисто молоко, сама — высокая, с любою лошадью управлялась лучше мужика. Приглянулись ей Митьшины кресты, што ли — только начала с ним шушукаться. Я уж ее однаж огрела помелом, а она белки выкатила да на меня: «Ты, грит, старая чертовка, за сыном бы Егором лучше смотрела: несет он раззор всему казачьему роду, в бальшовики пошел». Мы толды бальшовиков-то не знали, все больше с молоканами путали: тоже ведь веру свою из Ермании привезли.

Казаки-отпускники ездят из поселка в поселок, кричат, что офицерское добро делить надо, что пришла намеднись воля. Только однажды приходит станичный атаман, говорит Митьше: «Собирайтесь, грит, герои, в станичное правление, — по городу ходят, на манер пугачевского бунта, солдаты. Надо, грит, ихних главарей переловить».

Егор-то в ту пору в городе находился. Надел все кресты Митьша и отправился, на меня не взглянув.

Только не вышло у них, што ли — не знаю. Вернулся Митьша и — прямо на полати в валенках залез. А тут, немного погодя, и другой сыночек. С порога прямо кричит: «Митрий Железнов, слаз с полатей! Я тебя за бунт против народной власти арестую!»

Тот молчком спускается. А на чувале у нас всегда дрова сохнут. Поставил это Митьша ногу на поленницу, а потом как прыгнет, схватит полену и брата-то — господи, родного брата! — по голове, и бежать! Ладно — у того киргизский треух был. Охнул Егор и пал на-земь, а потом через минуту, што ли, поднялся и говорит: «Никуда, грит, от наказания не уйдешь! Я, грит, на замок коней запер».

У нас конюшни-то на железных болтах были. Я его было за руки, а он отвел меня и говорит ласково: «Не тревожься, матушка. Буду я народным героем и спасителем сицилизму».

И за дверь — тихонечко.

Я как только очнулась немного — за ним. А он на дворе, слышу, кричит: «Кто смел открыть ему конюшню, когда один ключ у меня, а другой — у моей жены?»

Посмотрел он на молодуху, покрутил усы. «Выпустила, грит, ты убивцу и предателя. Прощай!» А пуще его озлило, полагаю, что отдала молодуха Митрию Егорова Серка. А был этот аргамак из лучших лучший — где было тягаться с ним Игреньке, хоть и получил на нем Митьша два креста! Вывел Егор оставшегося Игреньку, потрепал по шее, оседлал тихонько и уехал, не взглянув на жену.

Сказывали, что в ту ночь в нашем городе переворот доспелся. Одолела в том деле Егорова сила. Отступили за реку казачки, что за генералов были. Вот в погоню и отрядили под началом Егора сколько ни на есть народу. Месяц-то ноябрь был, убродный да лютый. По снегу — след так

и видно, куда поскакали казаки. Догнал их Егор под Лужьим Логом. «Сдавайтесь, грит, а то всех перепалю из пулеметов». А казачки-то — шашки наголо, да — на них. Ну, оседать начали Егоровы силы. Казачки-то так и косят, так и строчат. Егору глаза снегом запорошило — ничего не видит. Хотел было приказ отдать отступить, потому видит — не одолеть ему генеральских казаков.

Только заржал в ту пору под ним конь, Игренька. А из супротивников другая ему лошадь откликнулась. Узнали, вишь, конь коня, Серко — Игреньку.

Закинул Егор голову да и спросил громко: «Брат, Митьша, — ты?..» — «Я, — отвечает тот, — я!»

Через всех казаков проскакал Егор к брату.

«Эх, грит, Митьша, прощай». И вдарил его шашкой в самые глаза.

Потом-то? Напугались казаки такого злодейства, сдались. А Егор револьвер вынул, подошел к Серку: «Будет, грит, повозил ты меня, повозил и брата. Прощай!»

Как ни уговаривали его, — он и сам-то в слезах был, — а убил коня...

Сердце-то у меня с того времени будто полынью обросло... Все-то времечко на нем горечь, все-то времечко на нем слеза не высыхает...

2. ПРО КАЗАЧКУ МАРФУ

У ворона вон гнездо куда какое крепкое, хоть и сделано из прутиков. От Каспия, когда подует ветер, камни несет в голову, столетнюю вершину ломит, как соломинку, а вороново гнездо серым цветом цветет, смеется быдто — цело.

Только ведь и так бывает: подрастут воронята, перо сизым налетом покроется — раздерутся. С чего раздерутся — никому неизвестно; может, из-за какой ни на есть

насекомой. Глядишь ты — в драке-то развалится тое гнездо — чисто скорлупа.

Я к тебе с гнездом этим не к примеру, а вот даве видела — нищая одна под ветлой плакала. Обличьем мне та нищая показалась знакома, а присмотрелась и — подумала: все нищие на одно лицо и на одну суму. А над ней писк, и в гнезде воронята дерутся, — выходит, конец лету... Вот и плачет нищая, что теплу — конец, что сума снегом скоро покроется, сгниет: нонче и сума денег стоит... А до воронят ей — что? Воронят ей и в сказку вставить нельзя, — ноне в сказках-то ароплан подавай, в кавер-то самолет не верят...

В нашем поселке Лещинском (это его в прошлом году — для смеха, должно — хоть и назвали городом, так ты не верь) строй глинобитный, деревянное только одно — пожарный сарай. Крыши одни только казачью удаль выдают — тесовые, а у богатых — крашеные.

Вот из-за крыши такой богатеем прослыл у нас Климентий Федосеев. А и было у него всей богаческой силы— что сыны покрасили ему крышу. Произошло их у него шесть человек, один другого на голову обгоняет — красавцы.

И только успели доспеть ему крышу, — даже скворешник не воздвигнули, — в тот же час как раз пришла германская война. Муторно стало смотреть Федосею на крышу, взглянет и слезами, бывало, зальется: «Лучше, грит, я, как расейский, вшивая губа, сидел бы под соломенной покрышкой»...

Судьба — не баба, слезой не возьмешь. А получилось так, что целехоньки пришли с фронта казаки. Как сказали Климентью, что видно сыновью пыль за ярмарочными балаганами, — силы в ногах ушли. Отправился он в избу, лег на скамью. «Я, грит, маленько вздохну». Да так с таким словом и помер.

Под'езжают сыны, смотрят на крышу — покоробилась га, облупилась. Думают — надо перекрасить.

Встречает их мать у ворот.

— Мир тебе, мамаша! — говорят казаки. — Что ж ты стоишь и думаешь и плачешь?..

— А вот стою, — отвечает мать их Марфа, — думаю: помер счас от радости по вашим лицам отец. Неужто станете вы теперь, как у всех, делиться и рушить хозяйство в такую тяжелую жись?

Казаки и говорят ей:

— Вот тебе перед отцом и богом слово: будем жить попрежнему сообща и тихо... Покой свою жись!..

Ну, а дни тогда, что торопкий да далекий путь: и лошади вспотели, и телеги заскрипели. А ямщик-то гонит да гонит...

Ты и сам знаешь, да и повторить не грех: наши-то степи уральские — еройские степи. Разин тут и Пугач гуляли, Маринка, жена Гришки жила, тут Цапаев с атаманом Толстовым сражался и в Яике потонул.

Слово, что ли, дали, что не делиться, али так уж вышло — только довелось всем шести братьям Федосеевым попасть в отряды к тому царскому генералу Толстову, которого большевики, сказывают, анафеме предали...

В бога, гришь, не верют? А как же они всех победили, коли в бога не верют? Может, вера в него другая — не наша, может, и скрытая какая — бог-то один: он знает, кому помогать. Знает.

Ну, и разбил тот ерой Цапай толстовскую армию, казаков дивно перерубил и начал над всеми суды судить.

Забрал он всех шестерых братов (тоже ведь к горю, видно, их в бою-то пощадило), выстроил, посмотрел на них и приказал судить — истреблять их без пощады, как комара.

Суд-то тогда был короче вздоха.

Спрашивают их судьи:

— Вы ли с нами воевали так, что от вас дух гнилой по земле прошел?

— Так точно, — отвечают те шестеро в голос, — воевали!

Прочитали им присужденную бумагу: так, мол, и так, за то, что воевали вы с нами до гнилого духа, дается вам смерть к расстрелу.

Надели казаки разом шапки. Самый молодой, так тот даже набекрень и чуб не забыл выпустить.

— Восподи, благослови! — говорят.

Я беду свою тебе сказывала, а что моя беда перед такой смертью? Мошка! На ногах-то у камандера опорки иль-бо что еще хуже, а пала Марфа к тем опоркам, щекой прижалась, воет:

— Простите, христиане, хоть одну смерть, хоть одну жизнь-то оставьте. Буду служить за ту смерть всей своей кровью Советской власти... хоть самого малого простите..

Сняли свои шапки перед Советской властью пятеро казаков и в голос сказали:

— Просим!

Посмотрели красные камандеры на малого, на бабу Марфу, значит, посмотрели, а той хоть без нескольких пятьдесят, а на тело и тридцатилетней не дойти.

— Ладно, — говорят, — прощаем одного: посмотрим на твою службу...

И верно: малого-то пустили, а остальных пришлось засыпать в одной могилке.

Пошел полк тот али дивизия — дальше, а за полком отправилась Марфа. Остался младший дома хозяйничать, женился вскоре, — хозяин из него вышел ладный. Одно: к деньге был жаден.

Марфа-то сперва около полковых казанов ходила, а дале, — позорище для казачки-то невиданный, — и на ло-

шадь вскарабкалась. Смеху-то, поди, много над ней было: как-никак — парень, а волос — седой. Шире-дале — ружье да шинель она себе обнаружила. И пошла с того дня об ней слава.

Бают у нас поселком: «Баба Марфа ротой командует и к советским отличиям представлена большевицкой партией». Командовала ли она ротой — бог знает: слов ведь тогда много говорили, а еще боле того — им не верили. Коли деньги без цены ходили, то слова — что?

Так, значит, с ветошним снегом и перестали об Марфе говорить. Жена-то Василия Федосеева — невестка, значит, Марфы — даже в церкви панихиду отслужила.

Вот и вышло, что поторопилась. Война кончилась. Народ про семена начал думать. Выйду это я за поселок, а мужики стоят да на землю смотрят. И дивно было — страшная какая-то земля была: багровым бурьяном заросла, корни какие-то в ней ползут, толще руки. Вот и вышел так однажды казак Абрам Новопольцев на пашню посмотреть, а видит — по тракту тройка мчится, аж от лошадей пена клочьями летит. Комиссарам-то раньше не радовались — вот и захотел Абрам посмотреть, кого это леший к нам несет. Заглянул в кошевку-то, а там — Марфа. В солдатской шинели с наличниками комиссарскими, вся грудь в орденах, рука на черной перевязи, и — постарела.

— Как, — спрашивает, — сын мой Васенька живет?..

А у самой руки трясутся от нетерпенья, и больным локтем ямщика в спину торопит.

Ошалел Абрам. Еройски, видно, отплатила Советской власти Марфа. Шапка у него аж свалилась, ничего ответить не мог, так и промчалась трашпанка мимо. Только через полсотни сажен услышала Марфа, как орет Абрам «ура», — а не обернулась.

Греха, по-моему, в хорошем хозяйстве нету, а только нельзя, коли мать приехала, первым делом в трашпанку

заглядывать, много ли добра привезла, и спрашивать: «Пенсию-то тебе, мамаша, большую назначили?»

Отвечает ему Марфа:

— Я, грит, не за пенсию, а долг платила...

Видно, такая горькая дорога вышла Марфе. Жаловаться она не жаловалась, выйдет на яр, подберет больную руку и в Яик смотрит. А разве казачке в Яик смотреть? Казачке надо робить. А тут невестка ее до самого худого горшка не допускала, а дале — лишним куском стала попрекать, расчеты стали вести на Марфину жизнь. Сын тоже посмотрит за обедом в сторону, скажет сурово так:

— Коли, — грит, — воевать, так надо, чтобы до победного конца. Зря, — грит, — домой калеки не приходят — в такую жизнь людей об'едать...

У Марфы-то ложка тяжелей топора станет.

Сказали ей как-то старухи:

— Тижелова сына ты оставила, Марфа...

А она так выпрямилась, быдто поленницу уронила:

— Кому он и тяжел, а мне — легче его нету...

Так и присеклись все.

Дале-то совсем замолкла Марфа. Вид делает, чтоб про сына не болтали чего: будто и кормят ее мясом каждый день, будто белый хлеб ей из города заказывают, а от платьев, от обновок будто отказывается. А сама все худеть да худеть, под конец одни глаза остались.

Земля (я тебе говорила) в тот год тяжелая была. Вот и соблазнился Василий на легкую работу: начал самогон варить. Граммофон купил на те самогонные деньги, двухлетку хороших аргамаковских пород, тарантас с крытым верхом. Как привел он тарантас да как устроил гулянку, так Марфа пришла в поселковое правление, попросила пакет, положила туда ордена свои и велела отправить в город самому главному комиссару.

Не знаю, что у них еще было. Сказывают, будто ударил свою мать Василий, а может, она его ударила, — только видал вечером в тот день шляющий Абрам Новопольцев, что подле кладбища развязала Марфа какой-то платок, достала суму, сломала с ветлы палку и ушла по тракту. За поселком суму-то надела, чтоб сына не позорить (а может, и врет Абрам), только где она теперь — никому не знаемо, разве что в новую войну об'явится...

*

...Месяц плакал в синевато-розовой тишине Яика. Был первый рейс парохода по Яику. По ночам тушили машину, и поэтому слышно было как со звенящим, серебряным плеском прыгнула на месяц рыба.

Месяц блестел, как слеза.

ПУСТЫНЯ ТУУБ-КОЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Экая гайдучья трава! Не только конь — камень не в силах раздавить, разжевать такой травы. И не потому ль в горах скалы — обсыпавшиеся, обкусанные, словно зубы коней, что бессильно крошатся о травы Тууб-Коя.

И над всем, вплоть до ледников, такое же желтое, как пески Тууб-Коя, — небо.

Звезды на нем, словно шаянье сухого помета аргалов.

Да и то так ли? Потому что никто не знает, есть ли на этом мутно-желтом, гнилой соломы, алтынном жалком цвете неба — есть ли на нем звезды.

И все же через гайдучьи травы, через пески, откуда-то от Тюмени, сквозь уральские и иные степи пробрался в партизанский отряд товарища Омехина агитатор, демонстратор и вообще говорун Евдоким Петрович Глушков.

Удивительнее его словес, которые, правда, стоили пятидесяти газет, — алебастровый, девичий цвет его лица. Никакие солнца никаких пустынь не смогли потревожить его нежнейшей кожи, а он, нимало не млея, гордился своими словесами и особенно — способом своей агитации.

На трех ослах пригнал он свое имущество. На первом — «Командир» по кличке — имел Глушков «вполне исправный», по списку, пулемет. На остальных — кинемато-

графический аппарат «Кок» и в туркменском пестром мешке — круглые ящики лент.

Ноги у Глушкова были босы, потрескавшиеся, в цыпках, а брюки он почему-то не подбирал, и густая желтая пыль была в отворотах — точно он нарочно насыпал туда песку.

Вытянувшись, стоял он пред товарищем Омехиным, и было у него такое розовое лицо, будто явился он с ледников.

— Удивительный способ моего воздействия на массы заключается в об'яснении событий предыдущего строя, демонстрируя вышеуказанные события и любовные драмы на мелком экране, посредством домашнего электричества, машиной, приводимой в действие человеческой рукой, именуемой «Кок», что по-русски значит: победа.

— Победа? — спросил Омехин и поглядел в горы Тууб-Коя, в ледники, что одни прорезали небо и куда бесследно ушли отряды белых.

— Несомненно, победа, — ответил Глушков, и зубы его показались белее алебастрового его лица.

— Тоды что ж, — сказал Омехин. — Мы не против буржуазной культуры, если она со смыслом... Показывай.

Больше года уже носился омехинский отряд по барханам Монголии, больше десятка месяцев жевали кони гайдучные травы пустыни, и многое стал забывать товарищ Омехин.

Так, пройдя несколько шагов, остановился он и поглядел на тех трех замореных осликов, на жирных оводов, носящихся вокруг них, и на Глушкова, раскладывавшего по кошме аппарат «Кок».

— Поди так, про любовь?

— Преимущественно про любовь, товарищ.

— Зря. Тут надо про смерть.

— А мы подведем соответствующую структуру.

Одни сверкающие ненавистью к зною ледники, одни они прорезают небо. Высоки и звонки горы Тууб-Коя.

И отходя к своей палатке, хрипло сказал Омехин:

— Разве что — подведем.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В средине ленты, когда гладкий и ровный «трутень» об'яснился в любви длинношлейфой даме, а соперник его — трухлявый лысый злодей — подслушивал за портьерой, когда Глушков совсем приготовил в памяти одну из удивительных своих речей, такую, что после десятка подобных совсем к чорту бы развалился старый мир, — в отряд, пробравшись незнаемыми тропами, примчалось подкрепление — уфимские татары.

Экран потух, партизаны заорали «ура», и косым ножом семиреченский казак Лумакша перехватил горло кобылице. Казаны для гостей мыли так, будто собирались варить в них лекарство, и, по степному обычаю, сам Омехин первый кусок сваренной казы пальцами положил в рот командиру отряда татар Максиму Семеновичу Палейка.

— Вступаю под непосредственное ваше командование, — сказал Палейка, быстро глотая кусок.

— Кушайте на здоровье, — ответил Омехин, придвигая блюдо. — По поводу же картины замечу: с точки зрения человеческой целесообразности любовь вызывает жалость к себе.

— Зачем же... Жизнь любить не мешает, особенно — рожать. Не рожая — какая жизнь. По-моему, женщина у меня должна быть единственная. Чтобы сказать фигурально или в пример аллегорией, — присосаться к шее на всю жизнь и пить.

— Не одобряю, — возразил Омехин.

Он хотел было спросить о буржуазном происхождении Палейка, но здесь тонко, словно испаряясь в сухом, как пламень, воздухе, пропел горнист.

Всадники вспрыгнули на коней.

Казак Лумакша, резавший кобылу, привел двух киргиз. От страха стараясь прямо, по-русски, держаться в седлах, сказали они, что ак-рус — белые люди с ледников пошли в обход омехинскому отряду, по дороге берут киргизские стада, и бии — старшины собираются резать джаташников.

— Мы сами джатак, — сказали они. — Пусти нас, мы по вольной тропе пришли.

«Джатак — значит бедняк, — самому себе перевел Глушков. — Необходимо отметить и употребить в речи, как окончу картину демонстрировать»...

Дни здесь сухие, как ветер, тоска здешней жизни суше и проще ветра, и ветер желтым и крупным песком заносит конец ее.

Вот поехали утром еще трое партизан сбирать кизяки — топливо — и не вернулись.

В долине Кайги остались сторожа подле запасных табунов, пустые палатки, три пасущихся подле саксаулов ослика и агитатор Глушков, спящий со скуки на камне, подле смотанных лент.

Сторожа рассказывали сказки о попадьях и работниках. Неутолимая тоска по бабьему телу капала у них с губ, и Глушков проснулся от вопроса:

— Неужель такая баба растет, как на картине? Надо полагать, перерезали таких баб всех, а не порезали — мы докончим. Зачем ты, сука, виляешь, когда мы тут страдаем, а?

Проснулся Глушков, тесно и жарко показалось ему в грязной своей одежде, пощупал горячий и потный свой живот, подумал — разве можно, действительно, показывать в

пустыне такие бедра. И с необычайным для него матерком добавил:

— ...Вырежу прочь вышеуказанный кусок из ленты.

Тогда же.

На одной из темных троп шарахнулись в сторону копыта коней.

Темно-вишневый цвет смолистой щепы осветил узловатый подбородок Омехина, кровь на копытах коня и грудь человека, разрезанную в виде звезды. По чолку утонула в груди человека конская нога.

Это был один из троих, ушедших утром сбирать кизяки.

Крупным песком заносится конец здешней жизни.

Палейка оправил ремни револьвера и тихо сказал Омехину:

— Предлагаю: труп в сторону. Пленных не брать.

От гривы к гриве, от папахи к папахе пронеслось с неясным шумом, словно вставляли патрон в обойму:

— Пленных не брать.

— Так точно, — прошептал задний в отряде, оглядываясь в тесную темноту, — так точно: пленных не брать.

В битве подле аула Тачи, как известно вам, был убит полковник Канашвилли, зарублено семьдесят три атамановца и взят в плен брат Канашвилли.

Горный поток тоже не брал пленных. Вода мутнеет от крови только в песнях, а пасмы туманов в горах были такие же, как в прошлый день.

— Расстрелять, — сказал, не глядя на пленного, Палейка. Он разыскивал тщетно спички, он не курил всю ночь, и, конечно, приятнее держать в руках папироску, чем шашку.

— Товарищ...

Омехин зажег ему спичку. Такая любезность удивила Палейка, и он даже поклонился:

— Благодарю вас, товарищ Омехин.

Омехин зажег еще спичку и так, с горящей крохотной лучинкой в руке, проговорил:

— Но, товарищ, поскольку она женщина, а не брат...

Палейка опять зашарил спички.

— Предлагаю: расстреляем через полчаса. Я ее сам допрошу. Выходит, не брат, а жена? — спросил он почему-то Омехина.

Тот тряхнул головой, и Палейка тоже наклонил голову.

— И жену... тоже можно расстрелять.

— Можно, — подтвердил Омехин. И тогда сразу Палейка почувствовал, что папироса его курится.

Был рассвет. Пятница. Татары умело кололи кобылиц, и так же уверенно, словно блеском своим сами себе создавали счастье, так же смело блистали ледники Тууб-Коя.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Допросили. Чего ее караулить, мазанка у ней такой крепости: развалится, крышей придавит, и в расход не успеешь пулей ее вывести. Тоже строют дома: горшок тверже. Знает свое дело.

Палейка любил говорить о великой войне. Он рассказывал, как при взятии Львова за его храбрость полюбила его черноволосая мадьярка, и как он на ней хотел жениться. Свадьба не состоялась: войска оставили Львов, но на память она дала ему дюжину шелковых платков песенного синего цвета.

Он вынимал тогда один из платков и, если приходила нужда, нос туда вкладывал, словно перстень.

Так и тут — он потянул палец за платком, галифе его заняли весь камень.

— Допросили, Максим Семеныч?

Палейка поднял платок. Пятеро татар, лениво переминаясь с ноги на ногу, ждали позади Омехина.

— Допросить-то я допросил. Однако должен предупредить вас, Алексей Петрович, что указанная вами грузинка есть не жена, а сестра Канашвилли. Зовут Еленой и, между прочим, девица. Она согласилась дать исчерпывающие сведения о состоянии бандитских шаек в горах, указать пути обхода и все связи бандитов с городом.

И по тому, как Палейка твердо выговорил последнюю фразу, Омехин понял — врет. Тянущий жар у него прошел от губ к ушам, упал на шею, и ему показалось, что он пятится.

— Я согласен на отсрочку расстрела. Я ее сам допрошу, товарищ Палейка.

— Очень рад. Вы, как твердо знающий политическое руководство, за долгое пребывание в степи изучивший ее... У вас связи с городом не имеется, если туда препроводить?..

Связь тут — красное знамя, да и то источили ветры и дожди.

Чудак Палейка, весенняя синяя твоя душа!

Омехин подошел к ветхой, словно истолченной киргизской мазанке. Несколько партизан заглядывали в просверленные круглые отверстия задней стенки мазанки, перебивали очередь, переругивались, с силой рвали рукава друг другу.

— Чорт, гляди, отмахнул на-круговую от плеча! Зашивай теперь.

— А ты воткнулся головой, что клоп в пазуху. Ишь, весь накраснелся, кровью налился. Надо и другим...

Испитой, бледный, как его старая, потертая шинель, мужик тщетно проталкивался между двумя крепкотелыми татарами. Бока его шинели, нависающие на туго перетянутую поясом талию, совсем закрывали широкий, заворотившийся с обеих сторон ремень, и локтями он упирался в стоящих рядом татар.

— Я совсем немного, братишки, одним глазком, — умолял хилый парень. — Дай-ка, ну-у...

Другой, тонкий, вертлявый, в короткой шинели, ухитрившийся придать ей вид щеголеватого кафтана, босой, угрем проскользнул между гладких крутлых спин и отверстие отыскал совсем под локтем мужика. Сухие ноги кафтанника совсем неслышно упирались в тяжелые сапоги татар. Он взвизгнул от удовольствия:

— Ай, что за женчин... Все только пундрится и мундрится...

Столпившиеся захохотали:

— Неужели еще пундрится?! Вот стерва, уж третий день. Другая бы глаз не осушила, доведись до нашей русской бабы, а этой хошь бы што...

— Полька она.

— Может, и еврейка, только белая.

— А муж генерал, говорят. Его не поймали.

— Ха, что ей муж? его и не было в отряде, она сама орудовала, как командир. Вот чорт баба — в штанах, с ножом, а рожа крашеная...

Новая гурьба желающих взглянуть на пленницу толкалась к просверленным отверстиям, хватая друг друга за локти. У одного старая, пробитая пулями шинель треснула, и фалда повисла до земли. Он, не оглядываясь, попал кулаком обидчику в голову. Фуражка у того надвинулась на глаза. Он, рассвирепев, принялся лупить напиравших по чем попало. Серые шинели слились в один матерно мечущийся, растрепанный ворох.

Омехин, давно недовольно наблюдавший за солдатами, придерживая тяжелый наган, двинулся к ним.

— Обожди, не муха! Чего ползешь? Где караул? Ну, отойди, говорят.

Мужики шарахнулись, словно разлепились, и едкий пот нанесло на Омехина.

— Сплошь пундрит, — сипло продохнул кто-то позади.

Омехин обошел партизан и поискал отверстие в стене на уровне своего роста.

Такого высокого отверстия не оказалось. Он оглянулся.

— Куда вы смотрите-то?

— А ты пониже, пониже, брат.

Омехин недовольно примял немного фуражку на голове и, согнувшись перед отверстием чуть не вдвое, заглянул. Сначала ничего не видел: узкие стекла у самого потолка мало давали света. Мазанка совсем пустая. Пахнет в ней золой. Две грязные полосы сосновых нар, скорее — длинная узкая скамья, и на ней, теперь сразу стало видно, сидит женщина в белой черкеске. Две тугие косы прямой линией — по спине. Косы будто зеленые. Лица не видно: оно к свету от окна. На коленях — белая папаха. В мягкой расчесанной мерлушке совсем утонуло круглое зеркальце. Рядом на плахе — круглая плоская голубая коробочка. В руках у женщины пуховка. Она водит ею по лицу, поворачивает голову перед зеркалом. Лицо все более отходит от Омехина. Он оперся, видимо, тяжело: из ветхого глиняного кирпича стенки выдавился сухой треск. Женщина быстро подобрала под плахи ноги в черных лакированных сапогах и оглянулась. Еще сильнее запахло мокрой золой. Серые глаза ее с ненавистью забегали по стенке. Брови совсем нависли на глаза или ресницы хватали до бровей.

— Ссс...скоты... — скорее свистнула, чем произнесла она.

Лицо бледное, выжженное, неживое, какое-то внутреннее, а не наружное. Глаза наездничьи, разбежистые.

Омехин отвернулся от щели и вздрогнул, словно по его груди проскользнуло это стремительное, молниеносное насекомое.

На его плечо по-дружески, но крепко легла рука Палейка.

Пальцы у него растрепанные и грязные, словно испаренные веники.

— Допросили?

— Собираюсь, — ответил Омехин.

— Может, препроводить ее при письме. Часть нежелательно возбуждена. Вы заметили, Алексей Петрович?

Омехин, уменьшая свой широкий рот, быстро спросил:

— Вы, кажется, товарищ Палейка, больше о ней заботитесь, чем... Да тут лавочка у ней, дальше коробки с пудрой не двинется. Да... Разговаривать с ней нечего, я ее допрошу. Допрошу... — повторил Омехин.

Голоса негромкие, не дальше сжатых губ, короткого дыханья, но ухо пленной чутко. Она всем телом прижалась к стене мазанки. И так горячо, так охвачено пламенем ее тело. Серая шершавая стена принимает, впитывает ее жар — она совсем теплая. Очень теплая. Совершенно неудивительно будет, если переданное ею тепло коснется, дойдет до лиц близко стоящих мужчин. Щеки одного вспыхнули, за ними пылают уши.

— Я вам не сочувствую, хотя как руководителю военной части все сообщенные ею сведения мне необходимо было бы знать первому...

Палейка вдруг круто, по-военному повернулся, козырнул молча и пошел вдоль палаток.

Омехин крикнул уже вслед ему.

— Обождите, Максим! Надо выяснить, чего недоразуметь. Верите ли...

Последние слова он бормотал на ходу, далеко откидывая коленями длинные полы шинели.

— В лесу надо поговорить, — через плечо сказал ему Палейка.

— В лесу?

— В лесу. Здесь неудобно.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Шинель Омехин сбросил на куст саксаула. Голубая нездешняя птичка выскочила из-под его куста.

«Хорошее место для могилы», — подумал он.

Палейка, не по-солдатски широко размахивая руками, шел далеко впереди.

...Ведь надумает еще пойти не до саксаулов, а до гор. Не до гор, а до скал Каги, до них пять верст по меньшей мере. Собачий перегон — так называются пять верст...

Костры чадили в долине. Партизанские кони рвали траву, как сучья. Горы — как палатки, в которых спит смерть.

Одни ледники разорвали желтое небо.

Ледники холодом своим смеются над пустыней.

...К горам, что ли, он идет?

...Не дойдешь, брат, в такой тоске.

★

...Все мы не доходим. Было другое лето в Петербурге, где нет гор и где море за ровными скалами, построенными людьми. Все же и там дует ветер пустыни, свивает наши полы и сушит, без того сухие, губы. Птица у меня на родине, в Лебяжье, выводила из камышей к чистой воде желтых птенцов. Я не видал их. Об этом напомнили мне книги. Петербургские тропы ровные и прямые, и я все-таки недалеко ушел со своей тоской...

★

Палейка, обессиленный, повалился грудью на землю.

Саксаул острыми спицами впился в тонкое сукно, разрезая приникшее к земле тело. Теплый дождь — подумал с неудовольствием кустарник.

Запыхавшийся Омехин остановился подле. Губы у него твердые, как дресва саксаула. Будто всю жизнь Омехин ест корки.

«Вы, я вижу, Максим, на самом деле, а?..» — хотел было сказать он и, как всегда при речах, потер он оземь и сонул правую ступню.

— Бывает, — промолвил он.

И так стало тихо, что от соседнего кустарника, вершка четыре от ствола, отскочила вдруг голубенькая мышка. Юхтач называется она, что значит — жадный. Задумчив и величав ее чуть загнутый нос.

Палейка приподнялся на локтях, вынул неслышно наган. Рот у него открылся: один зуб у него, оказывается, перерос другие. И главное — желтее всех.

Он повернул потную голову к Омехину и сказал:

— Пали!

Омехин хотел отступить, но Палейка приподнял на глаз мушку, и Омехин прошептал:

— Бог с тобой, Максим Семеныч, с чего я в тебя палить буду?

— Не в меня, в мышь. Кто попадет, тому она и достанется. Пали, ради бога.

— Спятил! Да никогда я в мышей не стрелял из револьвера.

— Пали! Считаю до двух. Кто убьет — тому. Система у нас разная. Пали, тебе говорят.

Мышь насторожилась, хвост у нее поднялся, она вздохнула, собралась бежать... и вдруг, не чуя себя, Омехин шепнул:

— Считай!

ГЛАВА ПЯТАЯ

Женщина лежала на лавке, подложив папаху под голову. Когда Палейка вскочил в теплушку и поспешно задвинул за собой дверь, она быстро поднялась и села, держась обеими руками за кромку плахи.

— Я закричу. Что вам?

Не отвечая, Палейка чиркнул спичку и зажег небольшой огарок, оглянулся — куда бы его поставить. Она прищурилась, словно приберегая глаза для разбега, быстро согнула в локте его руку и сказала:

— Стойте так!

Осторожно достала из кармана кофточки круглое зеркальце и пудренницу из бокового кармана юбки и, открыв голубую коробочку, не глядя на Палейка, неподвижно светившего ей, стала пудриться.

Когда нос стал белее лица, она губной помадой тронула чуть-чуть губы. Улыбнулась тягостно-легко.

— Теперь хорошо.

Спрятав пудру и помаду, взглянула на Палейка. Зеркальце осталось у ней в руках. Вытянулась и, еще притянув к носу зеркальце, тронула рукой грудь Палейка.

— Отойдите дальше.

Палейка, повинуясь совсем не ее руке, задевшей словно пчела, отступил назад.

В зеркале брызнулась отсветом свеча, ему захотелось загасить — но губы ссохлись.

Она опять села и положила зеркальце на колени.

— Что же, вы опять молчать будете, как прошлый раз? Вам чего, собственно, от меня нужно? Я ведь знаю, куда вы меня утром отправите, и ничего вам не скажу. Я и ничего не знаю.

Она ненадолго задумалась. Опять словно водяной паучок скользнул на ее щеки. У паучка смешное имя — «мзя».

— Я хотела после себя оставить...

— Мне?

— Совсем не вам, а вообще. Я думаю, что мои косы на это годятся. Пускай они останутся жить... я их люблю.

Она сложила на груди обе косы вместе, играя пушистыми концами.

«Хитра», — со злостью подумал Палейка, ощущая теснящуюся в носу влагу растроганности.

И он сказал басом:

— Серьезнее вы ни о чем не попросите? Может, какие другие вещи есть?

— Вот смешно! Это очень серьезно...

— Неужели на меня нельзя рассчитывать в смысле легкой, предположим, помощи. Мы, в крайнем случае, где-нибудь и понаскребем.

— Помощь... фи! И притом... надо же понимать. Кто служит, вообще как-то действует в жизни вместе с хамами, сам теряет благородство. А у лишенных этого достоинства я услуг не принимаю. Уйдите. Вы мне больше не нужны. Спасибо за огарок. Да, вот еще что: разрешите мне причесаться к завтраму, а то завтра я не успею. Подержите еще огарок.

Женщина спокойно, таким же заученным жестом, как ее слова, стала распускать волосы.

Палейка быстро поставил огарок прямо на пол. Его большая неуклюжая тень метнулась по стене, сломляясь у потолка. Голова на потолке превратилась в чурбан. Он сел рядом с женщиной и, не давая ей опомниться, поймал ее руки.

— В помощи? Да? Фу, гадость какая, только подумать... Уходите. И вы еще прикоснулись ко мне: у вас руки грязные, смотрите, ногти обломанные, короткие, желтые... как окурки...

Она с отвращением вытерла свои пухлые руки о низ черкески. Вдруг зеркальце соскользнуло с ее колен, упало на пол и разбилось пополам.

Женщина испуганно посмотрела на осколки, подняла их, словно не веря глазам, посмотрелась и заплакала, затопала ногами, пронзительно крича:

— От вас только несчастье, горе, потеря! Ненавижу, ненавижу! Убирайтесь! Знаю, что завтра расстреляете, знаю... и незачем зеркало бить!

Она бросилась на нары, подогнув под себя колени, и, уткнувшись головой в папаху, зарыдала. Косы, свисая до полу, бились, трепетали, увертливо развивались.

— Ишь, чорт! — сказал хрипло Палейка. Горло у него было сухое, словно из папье-маше. — Ишь, чорт, зеркало пожалела. Сплошь тяготение к суеверию.

Он слегка помолчал. Пальцы его нащупали в кармане платок. Мадьярский платок был последний. По бокам он обтрепался. Не будет больше таких платков у Палейка. И любви такой песенной больше не будет. Капут.

— Я его оставлю.

Женщина молчала.

— Я его тут рядом положу. Мне его невеста подарила. Теперь она, несомненно, померла. Я к вам даже не в смысле любви, а так, если что сможете почувствовать, то предлагаю вывесить на видном месте. Думаю: долго придется вам жить, так как по некоторым соображениям предполагаю отложить ваш расстрел.

— Я хоть в сапогах, а портянок не ношу. Уберите платок.

Палейка упрямо подошел к скамье, аккуратно разложил платок и, плотно захлопнув дверь, строго сказал двум часовым татарам:

— Смотрите в оба, потому что — стерва.

Татарин только сплюнул через уголок губ.

— Знам.

Он поднял винтовку и сплюнул еще.

— Все знам, солай.

Увидав входящего, Омехин приподнялся с койки.

— Какова?

— Ничего.

— Говорили?

Палейка, высоко взметая пушистые брови, захохотал.

— Везет вам, товарищ Палейка, с бабами. И-и, везет. Я ведь как стреляю, а и то промахнулся на ваше счастье. И в чего — в мышь. Она добровольно...

— Конечно.

— Сволочь бабы. Брата ухлопали, многих перебили, а тут на четвертый день... Вот и женись тут. Возни нам теперь с ней будет.

— Какая ж возня? Отправим по месту назначения.

— А вы как, товарищ Палейка?

— Побаловался — и будет.

— Да... будто и хорошо, будто и плохо. Везет вам с бабами, товарищ Палейка.

— Да, везет, — вздохнул Палейка.

Пески не стынут за ночь — как сердце. Пески разбредаются по всей пустыне, как кровь по телу. Кто убережет саксаулы от вихрей? Тученосно увиваются пески вокруг саксаулов.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Деревянная койка была жестче седла. У постланной шинели прямо невозможные швы. Не швы, а канаты. Завтра, наверное, пойдут по всему телу красные рубцы, отпечатки этих толстых, грубых портновских швов. Положил бы он спать на эту шинель самым нежным местом самого портного. Посмотрел бы, как стал этот портной ворочаться, кряхтеть и почесываться. Но почесываться приходилось не от одних швов. Омехин, ворочаясь, бормотал:

— Швы... вши...

Портного все-таки не мешало бы притянуть к ответственности, чтобы шил аккуратнее. Надо сообщить, но...

— Лешак те дери таку жись! Сидишь, как вошь на сковороде — и жирно и жрать нечего. Бабу бы по такой жизни.

«Военком рядом за стенкой, спит уже. Как боров, храпит, наверное»...

Омехин прислушался.

«И дыханья совсем нет. Значит, доволен»

— А ну его, сдался он мне!

Он достал махорку, выкурил трубку. Опять лег, накрывшись одной полой шинели. Духота — как в мелочной лавке. Промчался мимо патруля. Годы спал на шинели, не жала, а тут... И вспомнил он вдруг запах богородской травы. Пятикратное заклятье читать от такого запаха, если он почудится во сне девице... А тут патруль. Думай лучше о пахоте. Вот жарким весенним утром пахота. Пахота... пауза... похоть... пахтанье... похоть...

Со скуки читал он словарик иностранных слов, среди которых все были русские... «Иностранные» напечатано, чтоб больше покупали. Смешно.

...Совсем какая-то куличная ночь. Пахнет словно на Пасху. Луна, наверное, и чужие горы. Луна здесь — словно каждый день Пасха...

Он отбросил шинель. Пуговицы четко ударились о стенку. Омехин достал из-под изголовья сапоги.

— Пойду, посмотрю караул.

Он, стараясь не звенеть шпорами, стал натягивать сапоги.

Но здесь он явственно расслышал женский визг, рев нескольких голосов, и затем упал выстрел и, странно, не отдался в горах. Точно во сне — там никогда не узнаешь эхо.

Омехин запнулся о порог.

Мелькал фонарь подле мазанки, партизан задевал о его стекло наспех привязанной шашкой. Небывалый клекающий гогот слышался там. В кустарниках за лагерем выли приставшие собаки.

— Тише! Ну-у...

Кафтанистый партизан схватил его за руку и, со смехом указывая на троих татар, громко прокричал над ухом, словно выстрелы продолжались:

— Ты на них посмотри... ты на эти рожи. Хотел ка-а...

— Чего тут, парни, а?

В углу мазанки, держа в одной руке нож, а в другой папаху, плакала женщина. Ей, наверное, было стыдно видеть себя плачущей, и потому она визжала непереносно-высоким голоском:

— Изверги, палачи! Сегодня комиссар кидался, а теперь стаей хотят... Расстреляйте меня, не мучайте! Сейчас же, сию минуту! Гадины!

Омехин, отстегнув кобуру револьвера, взглянул на сутулого татарина, одного из часовых:

— Ну?..

Татарин сделал руки по швам. Лицо у него вдруг вспотело, веки как-то опухли. Он оглянулся на остальных.

— Баба нету. Четыре месяца терпел, как Уфа уехал, нету баба. Завтра стрелять все равно, комиссар щупал, надо нам мало-мало прижимать. Он...

Татарин жалобно указал на жидкую бороденку, по которой ползла кровь.

— Он нож — пщак сюда, начал меня резать. Пошто нам нету баб?!

Кафтаносец даже взвизгнул:

— Эта рожа, браток, смотри, эта рожа! Бабу ему надо! Терпи, курва, терпи так, как революция тебя терпит, а?

И он в совершенном восторге хлопнул себя по сапогам ружьем.

— Они для страха в воздух уф... Припереть ее чтоб.

— Запереть ее, — сказал Омехин с раздражением. — Запереть наглухо и... Ты покарауль пока, — указал он кафтаносцу.

Тот для чего-то обнажил шашку и застыл, только зубы его смеялись в темноте, и видно было их, казалось, за десять саженей от мазанки, куда отошел Омехин, татары и Палейка.

Фонари стояли на теплых и словно вспотевших камнях. Трухлявый ветер чуть шевелил полы шинелей.

— Поскольку... — сказал Омехин, глядя на камень.

Свеча нагорела, и не находилось дурака снять нагар, и поэтому Омехин чувствовал все увеличивающееся раздражение.

— Поскольку командная сила нашего славного партизанского отряда допустила попустительство, не кончив ее сразу, а дальнейшее ее пребывание заклеймит позором наш отряд, — я нахожу необходимым провести без промедления революционный приговор. Во избежание аккредитивов на анархические выходки — часовых: Гадеина, Алим Каши и Закия Кызымбаева приговорить к высшей мере наказания, но, принимая во внимание их несознательность, приговор считать условным. До исполнения дежурить над гражданкой... чем и загладить свою вину. Иначе — к чорту. Понял? Есть возражения? Возражения имеются?!

— Нет, — ответил Палейка.

Все так же глядя в камень, Омехин сказал татарам:

— Приговорены условно к расстрелу. Ступай по местам и караул веди теперь безо всяких. Понял?!

Татары вдруг взялись за руки и отступили.

— Ну?!

— Э, понял, Лексе Петрович, э...

И сутулый татарин низко, почти до земли, поклонился.

— Э...

— Осмелюсь доложить, — сказал Палейка: — могли не понять. Может, раз'яснить им?

— Какие там раз'яснения, если о пощаде не просят. Ясно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Утром от мазанки нашли следы, направляющиеся к горам. Скакали четыре лошади, а на самой легкой, на карем иноходце Палейка мчалась сбоку трех, видимо, она — Елена Канашвилли.

Всякие бывают события в жизни, как всякая вода в реках, но очень муторно было в это утро Омехину. Сидел он в седле, вытащив длинные сухие ноги по кошме, и глядел с раздражением, как Палейка выбирал в табуне лошадь.

— Каки события предпринимаешь?! — крикнул он ему.— Плохо, видно, с бабой спал, раз утекла. Плохо, видно, присосался.

Палейка с криком ударил укрючиной в табун. Кони метнулись, из-за палатки послышался топот копыт, и Палейка выехал на неоседланной лошади.

— Ка-амандер... Без седла ехать хочешь?! Не овод. Дать ему седло!

Татары подхватили Палейка.

— Дарю тебе на счастье свое седло, — сказал Омехин.— А коня не дам, прозеваешь.

Вслед за Палейкой помчалось еще шесть всадников.

Палейка метался один, без дороги, натыкаясь на кусты, камни, рытвины. Дергал за уздцы коня, — тот часто вставал на дыбы, крутился на одном месте, пытался даже сбросить не понятного ему, по желаниям, всадника.

Он словно бежал в догоню за скрывшимися и в то же время словно скакал от Омехина.

Но все-таки на крутой горной тропе, подле горы Ай оль, Омехин догнал его. Оборачиваясь на топот, Палейка крикнул:

— Они уж, Алексей Петрович, убьют нас, как тараканов. Четверо их.

Омехин в седле сидел так же уверенно, как за книгой, за словарем иностранных слов, который он небывало презирал. Ноги его плотно сжимали бока и были четыреугольные, тупые и скучные.

На шестой версте от лагеря, в нескольких шагах от тропы они увидели труп бежавшего часового Алим Каши. Череп его был разрублен саблей. Скользнувший дальше клинок рассек гимнастерку и обнажил впалую, чахоточную грудь.

— Тоже баба понадобилась, — не слезая с лошади, сказал Омехин. — Я думаю, отказался с ними в горы дальше итти. Не захотел быть предателем рабочего класса. Потому закопать его, а то волки сожрут.

Чернели вдали сухие, выветренные скалы. Очень сильно, до кровавых ссадин надо было сжимать бока коня, чтобы еще и еще сбирал он растраченные силы.

И вот у Агатовой скалы еще распростертое тело партизанского коня и всадника — часового Гадеина. Это был красавец саженного роста, веселый и хохотун. Скрюченные руки его запутались в поводу. Обезображенная голова коня— рядом.

Гадеин еще жив. Он поднимает омертвевшие веки и чуть слышно, словно веками, спрашивает Омехина:

— Стрелять пришел? Зря я от твоей пули бежал. Лучше от своей пули азрак — азрак капут. Он говорит: — бежим, убьет, все равно расстрел. Каши говорит — бежим, Закия говорит — бежим, все равно расстрелят. Ха, куда свой полки убежит татарин?.. Ха... Закия баба нет. Закия баран. Закия мне в башку расстрелял, как баба просил. Не стреляй, Алексей Петрович, в морду, стреляй прямо в сердце.

— Да, — сказал Омехин, подбирая свои повода, — кончится скоро. И верно — не понял, что значит «условно». Что значит условно? — обернулся он назад.

Бойкий пензенский паренек выпрямился в седле.

— Условно — значит, товарищ комиссар, которых убить бы надо, да пожалели оттого, что хорошие ребятишки.

Ближайшая гора прикрыта до пояса кустарником, словно юбкой, а дальше голая, скалистая. В кустах паслась лошадь. Высоко подымая пухлые губы, она весело щипала колючую траву. Появление людей ее не встревожило.

Она отдохнула, освежилась и радостно заржала. Далеко от лошади, впереди, на каменистой тропке лежал вниз лицом труп. Он врылся в расщелину камня грязными пальцами.

В него было всажено — в спину, в шею и в голову — четыре револьверных пули. Совершенно бессмысленно, тщеславно.

— Это баба стреляла, — сказал Омехин.

Дальше уже шел след одного коня.

Омехин посмотрел в горы. Куст окончился, и обнажился голый камень. Высоко, где-то в снегах серел аул. Дымок виднелся среди скал. Вечная жара веяла от камней.

Омехин натянул левый повод, а сам откачнулся вправо.

— Будя! Дальше нас самих пристрелят. Вертай, товарищ, обрать. Лошадь забери. Жалко мне твово иноходца, Максим Семеныч, но, бог даст, поймам когда-нибудь ее.

Позади его в спину он услышал шопот Палейка:

— Товарищ, вы заметили — у последнего-то в руках волосы ее...

— Ну?

— Он ведь был самый некрасивый. Закия, который всех убил. Он ее за волосы успел схватить...

Омехин осадил коня, поровнялся с Палейка и наклонился к нему так, что почувствовал запах кумыса и курта.

— Ну, а если даже и за волосы... За волосы таких баб бить надо, а не помирать.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

До потока, что проходил у самого стана, они ехали молча. И когда копыта разбудили деревянный самодельный мостик и вода словно забурлила еще быстрее, Палейка догнал Омехина. Держась за луку его седла, он забормотал:

— Я ведь вам все наврал, Алексей Петрович, как есть наврал. Может, она ему жена, может, сестра... или польский шпион. Не спал я с ней, и ничего не было, и зря вы в мышь промахнулись. Лучше бы мне промахнуться. Я ей только синий платок подарил.

— Ну?!

— Чтобы она показала в руке, если захочет вообще с симпатией, а она...

Омехин вдруг тяжело повернулся в седле и огорченно будто крикнул:

— Увезла?!

Сухие скулы Палейка вспотели, повод скользнул, и он соврал:

— Сожгла. Пепел мне показывала потом, после татар. Пепел. От шелку сколько пепла? как от папиросы.

Вязкая теплота наполнила жилы Омехина. Ему захотелось спать, стремя отяжелело и словно стопталось в сторону.

— А ну ее, — сказал он лениво. — Надо протокол для отчета составить. Я еще хочу днем мазанку осмотреть, как они удрали. Татар жалко...

К двери мазанки, там, где скоба, был прибит тоненьким гвоздиком синий шелковый платок Палейка.

— Так, — проговорил Омехин задумчиво, глядя, как Палейка торопливо, даже не спрыгнув с лошади, сорвал платок, — так, посмеялась паскудная баба. Увижу — шесть пуль всажу.

От'ехав немного, он остановился, посмотрел на Палейка, покачал головой и вдруг, спрыгнув с лошади, пошел пешком к палатке. Какой-то проходивший партизан подхватил повод его коня.

★

Вечером Омехин взял винтовку, переменил обойму и почему-то снял с сапог шпоры, хотя он очень любил ходить в шпорах.

Ружье ему показалось очень тяжелым, ночь — непереносно душной, и только было хорошо то, что не видно было во тьме гор.

Он сел недалеко от мостика через поток. Воды словно убавилось. Пахла она цветливыми горными запахами. Омехин не спал вторую ночь, и потому все ему казалось почему-то соленым. Виски тучнели, и тьма ночи была непереносно тягучей.

Под ногами, казалось, сыпались-сыпались мелкие острые, как иглы, камушки. Костры в лагере потухли, и скоро вернулся через мост патруль. Мужики громко хохотали, и один из них скинул в поток горсть горных орехов.

Так Омехин сидел долго. Ноги свела тесная боль в жилах. Ружье он отложил в сторону. Где-то на небе мелькнуло пятнышко зеленого с желтым рассвета, и здесь он услышал заглушенный топот.

Всадник медленно, со стороны лагеря, приблизился к мосту. Постоял немного и громким шопотом понукнул лошадь. Лошадь четко ударила копытами.

— Палейка, ты? — окликнул его Омехин.

Всадник дрогнул и неестественно громко выкрикнул:

— Я!

— Подними голову выше. Я тебе покажу, куда надо бегать.

Омехин плотно, согласно уставу, прижал к плечу ложе винтовки.

Лошадь шарахнулась от выстрела, прыгнула два раза и с пустым седлом помчалась обратно в лагерь.

Омехин перевернул труп, из бокового кармана гимнастерки достал пакет, завернутый в синий мадьярский платок. Там было немного денег и документы Палейка. И документы и деньги он кинул в воду вслед за трупом, а платок сунул в карман.

Затем он, неизвестно для чего, разжег костер из саксаула. Закурил и разложил перед собою платок. Достал веточку с горящим концом и проткнул платок посредине. Запахло гарью, и палочкой же Омехин швырнул платок в костер. Подошедшему же секретарю штаба сказал:

— Надо мне сегодня картину ту досмотреть, что татары помешали. Какая, интересно, мораль получилась из ихней любви.

— Нельзя ее досмотреть, товарищ комиссар, — ответил ему секретарь.

— Пошто же я не могу ее досмотреть?

— Оттого, что две недели назад уже как демонстратор, товарищ Глушков, от'ехал в другую сторону, с вашего же разрешения переменив ослов на лошадей, потому что ослы, как известно, были задраны волками за отсутствием стадности и наблюдения.

— Две недели?

— Так точно.

— Ишь, ты, жизнь-то как идет. Жизнь идеть прямо... — но не докончил, как именно идет у него жизнь, так и не докончил товарищ Омехин. Только ухмыльнулся.

Камень в горах тугой и броский. Веселая и зеленая под ним земля. Солнечный пламень в горах потух, и облака, как пепел на костре человека, закрыли камни.

Под руку попалась трава. Экая гайдучья трава: не разжевать ее, не раздавить.

И все же через гайдучьи травы, через пески, откуда-то от Тюмени, через уральские и иные степи, через партизанский отряд товарища Омехина пробирается дальше агитатор, демонстратор и вообще говорун Евдоким Петрович Глушков.

БЕГСТВУЮЩИЙ ОСТРОВ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Спасибо, так сказать, заранее, — визгливо сказал мне вдруг пассажир, сидевший напротив. — Сары медной не имеете? Медной мелочи, так сказать. Разменить мне необходимо полтинник.

Мне трудно было его рассмотреть: бурая горячая пыль закавказской степи плотно, как ставнем, прикрывала окна. Были сумерки. Пассажир, заметив мой взгляд, тщетно попытался протереть окно. Я разглядел юркие и большие его глаза и частую улыбочку.

— Откройте...

Тогда пассажир поспешно взглянул на своих соседей. Первый — сонно белобрысый красавец, стриженный в скобку, дремал, облокотившись о столик, а баба — молчаливая, широкогрудая, с огромными, щекочущими сердце ресницами, внимательно разглядывала мои очки. Она уже, как я успел заметить, много спала и во сне капризно приподымала верхнюю губу, обнажая белые и ровные, как березы, зубы.

— Открой, не украдут, — сказала она лениво, даже не взглянув на большеглазого. Тот, пристально и тоскливо глядя на бабу, поспешно — словно окно было в душу — дернул за ремни. Стеклянно-резкий ветер опалил наши гортани.

Поезд на минуту задержался на полустанке. Возгласы беспризорных раздались под окном.

— Што ж, не серебро же вам! — крикнул им огорченно мой сосед.

— А ты серебро, — раздался спокойный голос бабы. — Плодить умеете...

Соседи мои все время пути питались булками и чаем, о деньгах говорили с завистью и нежностью.

Но тут юркий сосед вдруг быстро бросил в окно сначала двугривенный, а позже — полтинник. «Ну, тут неспроста», — подумал я и стал присматриваться. Я уже лег на верхнюю полку, и, дабы говорить со мной, Галкин, Павел Петрович (как узнал я позже) поднимал лицо свое кверху, вровень с полкой. Я узнал припухшие веки сладострастника, тонкий длинный рот завистника и болтуна, а в нем исчерна-желтые зубы пьяницы и курильщика, а выше нагло мокли бледные десна кокаиниста. А вместе с тем было в нем пленительное тление мечтательности и какое-то бродячее страдание, какое бывает у старых собак, покинутых хозяином.

— Смеются... Они, братец Иванушка и сестрица Аленушка, смеются надо мной...

Он нежно улыбнулся им. Братец Иванушка, проснувшийся от толчка поезда, сурово взглянул на меня — и опять задремал.

— Если рассуждать по существу — то они, беспризорные, отца убьют и мать спалят, если надо. Однако пятака не подать — стыдно. И подаю, хоть мы и бедностью своей слывущие... Правда, в Мугани водопровод ведут на тысячу верст?

— Канал. Не на тысячу, а на тридцать семь.

Галкин сначала как-то поспешно моргнул, а дальше вдруг широко открыл глаза и визгливо вскрикнул:

— Канал! Скажи, пожалуста, а все говорят: водопровод. А канал, по-моему, лучше. Птица осенью полетит на

зимовку, тоже сядет, отдохнет, а то через такое пыльное пламя лететь — перо сгорит, охотнику гольем достанется. Вот эти, допризорные, тоже на зимовку, как птицы... У птицы хоть перья, а у них что — хмельная, путаная судьба...

Галкин вздохнул. Кондуктор зажег свечу. Кожа на лице Галкина как-то тоскливо пожелтела, сморщилась. «У тебя-то тоже, видно, хмельная судьба», — подумал я.

Сумерки были черные, как печное цело. Вагон качало. От горячего ветра волосы мне чудились перьями. Я задремал. Сквозь сон слышался мне визгливый шепоток Галкина:

— А тебе, Аленушка, позагорблю слещить... последний раз, ей-богу...

Лещ, жирный и мягкий, вспомнился мне, Сибирь, — и уже во сне, кажется, я понял, что значит «слещить» на тюремном жаргоне. Я, кажется, потрогал карман брюк и перевернулся на другой бок. Словно шапка — простой, круглый и мудрый сон овладел мною. Мельком, где-то позади сознания, помню: в окне вагона огромное багряное, похожее на шиповник солнце, на рамах, покрытых росой, необычайный шиповный блеск, а надо мной склоняется Галкин. Он улыбается, спрыгивает и, высунувшись в окно, любуется на восход. Голова у него мокрая и розовая...

Я проснулся поздно. Соседи мои пили чай из чайника, похожего на утюг.

— Долго, — весело взвизгнул Галкин, — долго вы спите!

Но тут началась ерунда. Услышав голос, я вспомнил восходное мое видение. Сунулся, а затем, как все обокраденные, стал перешаривать другие карманы. Два месяца кавказских мечтаний, Казбек, романтические волны Черного моря, одним словом — мои сорок восемь червонцев были вырезаны. Вагон переполошился, и больше всех суетился Галкин. Он нашел начальника поезда. Тот сразу почему-то обиделся на меня. Меня ж оскорбили его выкрашенные хной усы.

— Надо в Чека, — сказал он злобно и ушел.

На станции я не нашел Чека (он прибежал после второго звонка, в руке его мотался ломоть недоеденной дыни, — он хотел поехать со мной, но быстро раздумал). В Гандже Чека спросило:

— Кого подозреваете? — и меланхолично добавило: — Обыскать мы Галкина можем, да где найдэшь... Пэрэпрятал давно. В Гандже он слазит, говорит... Послэдим, послэдим... А обыскать — только вам нэприятности.

Чека был русский, акцент у него, видимо, был от скуки.

Чека лениво пососал кончик карандаша. Я отказался от обыска.

ГЛАВА ВТОРАЯ

А Галкин, оказалось, ехал дальше. У ног его уже качалась высокая корзина гранат и винограду.

— Вина не хотите, гражданин? Вино здесь дешевле картошки. Я с кувшином вместе купил за полтинник.

Днем верхние полки опускаются. Мы, мужчины, трое сидели на нижней скамейке. От толчков вагона груди спящей против нас женщины мерно колыхались — казалось, догоняя друг друга. Галкин любовно рассматривал заморские ее ресницы и тихонько вздыхал. На остановках, чтоб ее не будить, он выходил на площадку и раздавал перед окном медные деньги.

— Поправитесь, — сказал он, быстро разрывая гранат. — Судьба кроет всех без обхода — и старого и молодого. У меня вот тоже судьба...

Но тут Аленушка лениво подняла розовые свои веки. Братец ее, до того неподвижно и прямо сидевший, словно его телу была отведена какая-то грань, вздрогнул и, тряхнув кудрями, не без грации вопросительно склонился к ней. «Выпадет же такая любовь человеку», — подумал я со злостью.

— Поись бы, — проворковала Аленушка.

И тогда Галкин крикнул проводника. Как и весь вагон, проводник злобился на моих соседей и на Чека. Галкин дал ему на-чай три рубля — и проводник улыбнулся милостиво. Из вагона-ресторана принесли закуски: свиная котлета с зеленым горошком, беф-строганов и водка. Покушав (мне и теперь страшно вспомнить, с какой злобой смотрел я, как они поедают мой Казбек, романтические волны Черного моря, тифлисские окрестности), покушав, они вздумали попеть (у Аленушки оказался медовый такой контральто), и вагон слушал их долго. Пели они разбойничьи песни. Опять вспомнил я Сибирь, подумал — чего мне на этом Кавказе и чем наша Белуха хуже Казбека. Злость моя схлынула. Попев, Аленушка стала разговорчивее и уступила мне место у окна.

— А передал бы ты сказку что ли, Петрович.

Галкин даже руками взмахнул, — он, видимо, умел и любил передавать.

— Мы, знаете, — сказал он не без гордости, — люди семейные, в Тифлис решили к родным заехать, а оттуда вернуться в Мугань, к этим самым водопроводам, точную жизнь устраивать.

Он сказал обычную фразу, что сказки мужицкие — грубые, не побрезгую ли я. Галкин поломался еще немного.

— Может, и откушать теперь, гражданин, хотите? А за закуской и расскажу.

У меня остался рубль. Да простят мне все, страдавшие от карманников, — я откушал. Галкин рубанул рюмку, крякнул:

— Хороша она, леший ее дери, кавказская, на виноградном спирту...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Возможно, читая газеты, доводилось вам встречать вести о комиссаре таком — Ваське Запусе?..

«Эк, куда занесло твою славушку, Васька», — подумал я и все-таки спросил:

— Из Тюмени?

— Так точно. Возможно, доводилось вам бывать в тех местах, гражданин?

— Бывал и там...

— И слава богу. Места обильнейшие: кисы да шишки (чемоданы и портмонэ) [1]) финашками, будто землей, набиты. В таких местах для проясненного жизнью человека — житье, лучше не надо... Так вот... в революцию Васька прославился.

В долгом зевке Аленушка опять показала нам березовую рощицу своих зубов и кончик языка, словно мокренький теленок из-за перегородки... Галкин так и замер.

— Ты бы, — наконец проклокотала она, — рассмехнулся хоть... про кота бессмертного рассказал. Про эту самую революцию — все страшно да скушно... будто болесть...

— Все будет там, Аленушка, все. Революция в происшедшем случаю тоже вроде кота бессмертного, чудная... Я, гражданин, сам из тамошних засильников. Душа моя по природе хозяйственная, а мне приходится претерпевать бог знает что, пока... детей вот...

Но тут Аленушка вдруг рассердилась и даже невнятно пробормотал резко так слово вроде «роппа-кимать»... Галкин, не закурив папироски, кинул ее в угол. Достал другую и — тоже не закурил. Пальцы у него дрожали. Наконец Аленушка проворковала:

— Скоро ты сказку-то?...

И Галкин встрепенулся, обрадовался.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

...Я сам из раскольников произрастаю. Начинается потому сказка моя от тысяча шестьсот восемьдесят пятого —

[1]) Все об'яснения слов в скобках — автора, а не рассказчика.

проклятого — года... Царские законы против раскольников в том году пущены. Мучали их по этим законам почесть до самой революции... В Драновитой палате при царевне-паскуде Софье-беспятой пришлось им закричать: «Победим, перепрехом!» — так и жили под таким зыком долгие века. Вы, гражданин, в обиду не впадайте: говорю непонятно, да по «музыке».

«Стрелял сам саватеек», хоть и мелкозвонов «на кистях» не носил. Богат оттого-то тюремной «музыкой»...

С Петра Первеликого настоящее им мученье пришло. Напечатал Петр против них духовный пергамент, после пергамента того — народ в ямки жечься полез.

Жил в порту того духовного пергамента в Питере книжный юный мудрец под названием Семен Выпорков. Дух исступлен, из себя красив, как черемуха. Главным виновником смуты Петра почитал, называл всегласно его Антихристом. Царя ругать—жизнь, как игра без козырей. Сходило ему это все как-то с рук — оттого себя считал богом избранным. Умер Петр от сифилиса. Выпорков возьми и напиши ему вслед проклятие: «Антихристу, спустившемуся в ад, всероссийского царства бесу, попущением божьим Петру, препаскудно-поганому императору». Вышло ли б что из того письма, кто знает... на подоконник обсохнуть его положил. Зашел в ту пору в келью протодиакон Иерофей, письмо увидал — донес.

Довелось вытерпеть Выпоркову каменные мешки, застенки — немшоные бани, «четок монастырских» на железном стуле покушал. Не ходил по дворам боярским с гостинцем-кистенем, а у заставы, при команде гвардейских солдат мудрую голову его нещадно звякнули. Страдал он много, плоть дрогнула — дыба не мамка — сознался: в пустыни начетчиком его ждали тем летом, находится та пустынь под Ярославлем, хутор купца Федорова. Пошли туда солдаты.

Раскольники, обычным манером, уселись в ямки. Ждала на хуторе там мужа жена Выпоркова, тихая Александра. Вкруг келий костры наложили, поют по крюкам отходные псалмы. Вдруг паренек, работник, по прозванию Оглобля, выскакивает вперед, кричит:

— Я сам со Строгановских заводов три раза бегал, знаю все ходы и выходы — от Зауральского камня до Калымреки... Есть дальше крепости Тюмень да ближе крепости Тобольск, середь топей, середь болот — Белый Остров, от старых дубрав так названный. Топи те незамерзаемые, тундра называются масленая... Проход туда три недели в году по редким кочкам, да зимой по снежным вершинам кедров ибо снега там зимой по десятку сажен наметаются. Люди вы добрые, согласные, жалко мне вас, лучше уведу я вас на тот Белый Остров...

Сказал — и начались среди раскольников споры. Жена Выпоркова беременна была: кому охота с ребенком гореть. А работники возы сена подвозят, гореть легче, вокруг келий складывают. Кричит купец Федоров Аввакумовы слова:

— Дерзай, плюнь на пещь ту, не бойсь!

...До пещи дойти — страх, а как вошел, так и забыл все!.. Жена Александра ему говорит: «Пойду в Сибирь». Купец ее — за волосы, она его ножом. Вступились которые, — и драка великая произошла. Залезла наименьшая часть с купцом вместе в костер, а другая с работником Оглоблей, им ведомая, в пустыню пошла. Поется в песне даже:

Как от Камы-реки на Иртыш — великие версты.
Уж и были эти версты, стерли у рук персты...

Долго, выходит, шли. У молодой жены Выпоркова дочь родилась, назвали, как и мать, Александрой. На Белый Остров когда пришли, избывая муки все, — десять лет девчонке стукнуло.

Вера, как тесто, — без рук, без ног, а ползет. Разговоры да мысли, молитва да пост — а оказывается: епископа истинно православного нигде нету, не фартит. Без передачи апостольского благословения тоже не фарт. Не фарт и то, — все епископы остались с Антихристовыми слугами. Осталась одна надёжа: второе пришествие Христово... Со дня на день ждали... Ну, и решили — какие надобно таинства делать пока самим. Мудрец такой великий на поморьи жил, Денисов, поддержал тоже: «Мол, крепитесь, а самое великое таинство — брак — да будет пока сходным»... Запутались в мыслях, будто перекати-поле в самом себе.

На холм высокий, зелененьким мохом обросший, вышли. Видная такая чернь — тайга, и «горбач» беглый здесь не бывал, на что он пронырливее всякого зверя. А на восток видно через речушку безназванную — топи, кочки, камыши, болота да скалы. Растут на холме том три маленьких сосенки.

— Отсюль, — машет работник через речку,—начинается та дальняя тропка на Белый Остров. Надо только осени глубокой подождать, пока в болотах кочка промерзнет, стоять будет твердо. К тому времени я всю тропу вспомню наизусть, как утреннюю молитву.

Сел работник меж трех сосенок на мшистом камушке, голову рукой подпер, смотрит через реку на топи и думает. Сидел так он целыми днями, аж камушек, словно монета, стал блестеть, — все вспоминал. Пал снег, валенки его начало заметать. И уже застыл тот снег вокруг валенок, лисица по тому насту вкруг валенок наследила, — думает все еще работник Оглобля. «Жив ли?» — раскольники беспокоятся, а боязно потревожить: лишиться может совсем ума от сотрясения вопроса. Третьи сутки так в снегу сидит, не пьет, не ест. Поднялось солнце на четвертые сутки, мороз ударил — аж затрещал лес. И тогда работник Оглобля поднялся.

— Вспомнил, — говорит, — все тверже утреннего начала...

Молитву, какую полагается, спели, тронулся обоз. Подле трех сосен, у самого Работничьего камня тихая жена Александра стояла. Проходили мимо нее возы. Триста их насчитала жена Александра. Затем самым молодым раскольникам и говорит:

— Пойдите вы позади всех и будете вы ровнять снег, чтоб не было ни следов, ни колей, ни памяти людей, не было ни дороги, ни троп, один снеговой сугроб! Замкните ворота таежные. Спустите засовы болотные, — и заклятье положу я на ту дорогу.

Так и сделали.

Пришли обозы к Бело-Острову на пятые сутки. Поляны снежные выше за березовыми дубравами, чьи стволы белее снега. Виднеется гора. Пещеры в ней темнеют жорлами, борются в пещерах тех медведи — перед спячкой. Воздвижение еще, значит, не было... Камни вниз швыряют с горы — забавляются, летят те камни, чисто птицы. Людей медведи увидели, заревели в голос, свой срок жизни на острове поняв, обнялись и попарно так остров и покинули.

Боялись сначала раскольники все царевой волны вслед, а потом поняли: на недоступные холодные воды вышли. Вывели кельи, молельный дом срубили из кедрового дерева. Устроили собор, и на соборе том киновиархом мирную жену Александру избрали. Дале, по наказу поморского мудреца Денисова, разделились: «могшие вместить» ушли на гору, прозванную Благодать, в пещеры, схимниками - пустынниками, наставниками-начетчиками... Живи, дескать, в пещерном мешке, понимай, дескать, что жизнь эта есть мелкая ступень к будущей жизни, что есть нескончаемая лестница. Хо-олодная лоза!.. А кто не мог вместить, поселились ниже, на полянах. Срубили дома, пашни подняли, бить птицу и зверя стали. В домах жизнь тоже не лучше пустынников:

ни смеха чтоб, ни возгласа. Тишина, сумрак да ладан. Унынь. Чуть что провинился, — пропишет наставница несколько лестовок, а в каждой лестовке сто поклонов. Считай богов в молельной бане...

Вышел еще обычай. Сначала из-за волков: замучали волки. Ружья и порох понадобились. Собор сбирался в декабре, избирал трех охотников да пятерых глупцов-силачей наместо лошадей: дураков от пустынной жизни много рожалось. Шли те охотники-лыжники да глупцы-таскуны-кочерыжники к Трем Соснам. Зыряне-промышленники, воры-купцы встречали их там. Меняли порох да ружья, железо да старые иконы на меха и мамонтов клык. Зырянин, стерва, дуванщик, из огня одетый выйдет: жили-существовали на ту раскольничью мену целым селом Черно-Ореховым. Избы себе кирпичные под железной крышей сбахали, завели граммофоны — и молчат. Дрожали носы не одного десятка приставов: собака чует — неладно, трясет погоном, а взять не может. Дивовался народ всей Тобольской округи, до чего в охоте везет черноореховским зырянам. И соболь, и бобер, и рысь, и мамонтов клык, а белка дешевле мыша. «Чорт помогает», — решили.

Волчье гнездо это, пустынь белоостровская растянулась на три версты. Вверху, подле еланей, в пещерах схимников-пустынников не счесть сколь живет; спускаются вниз избранные на соборы только. Киновиархом, из жизни в жизнь, избирают род Выпорковых, от жены мученика начатый. Вели они жизнь суровую, пустынникам в науку, больше одного дитяти не имели, если сын — Александр, Александра — дочь. Как исполнится три года дитяти, мужик-отец в пещеры уходит, а жена киновиархом и хозяином остается.

Да-а, не знаю, ели ли они шаньги, булки такие есть со сметанной намазкой, — а я люблю... Я на них не сержусь, думаю — по праздникам разрешали...

Что и говорить, народ чудной. Родилась однажды у Выпорковых дочь. В день рождения, по обычаю, полагалось — вкопать на полторы сажени бадью меда. Первый выкоп бадьи — в свадьбу, второй — в похороны нареченного. Александрой, как водилось, нарекли. Опускают пятидесятиведерную бадью в яму, — на ней обруч и лопни. Делали обручи для случая, бадьи-то долбленые были. Обруч лопнул (кузнец-то слабый был и шатун-лодырь). Затрясся отец, блажной был, вроде провидца, Платоном звали.

— Худо ли, худо ли, худобушка!.. Не вынимать ей бадьи ни в свадьбу, ни в похороны... Сгниет бадья, пропадет бадья, не пускать туда ни ковша, ни ведра... Худо ли, худо ли!..

Не выждав положенных трех лет, в пещеры к схимникам-пустынникам в ту же ночь ушел. Думал — грех сделал: с бабой поспал. Виденье ему в юности такое было — не спать бы с бабой. Красавица была — польстился.

Молился Платон в пещерах неустанно. Большим почетом пользовался, ходили многие за советами, — сам он двадцатый год в поляны не спускался. В день с'едал сухарь, малую чашку воды выпивал.

На двадцатый год его подвигов — хоть вокруг острова топи да гнилое дерево, лихоманочный комарь, тяжей грабителя — уродилась небывалая рожь: в закрома не влазит, стоит в скирдах необмолоченная, да и молотить некому. Руки и цепы поотбили. Собрался в декабре собор. Старуха, тихая жена Александра-киновиарх в стуле сидит, на котором лохматые собачки вырезаны. В горнице тишина, благолепь, прокажено ладаном. Старики на лавках, в бородах у них от старости плесень да паучки бегают. Говорит им благочестивая старица Александра-киновиарх.

— Допреж чем послать охотников-лыжников да Марешку-охальника к Трем Соснам, хочу сказать я вам немудреные слова, старики и схимники-пустынники... Глупые мои слова, бабьи, может, и слушать их не будете...

— Говори, матушка, говори, кроткая...

Александра-киновиарх строго всех оглядела, Марешку особо. Марешка — главный зверолов — «маз» был. Знал тверже всех тесь к Трем Соснам, окаянным его прозвали: в кои-то веки, тридцать лет назад, соблазнился понюхать у зырянина-купца табаку. Марешке теперь лет семьдесят, а стоит в дверях — чин блюдет. Забормотал и он вслед за пустынниками:

— Говори, матушка...

Тряхнули бородами старики: такой не поперечишь. На што дочь — зверюга, а трясется подле двери соседней горницы. Старики все ж говорят для близира:

— Конечно, надо обсудить... Надумали что? Кто знат...

— Надумала, — отвечает им тихая старица Александра-киновиарх, — для продолжения киновиархского роду дочь свою Сашу за Гавриила-юношу Котельникова к сводной молитве подвести... Твердый и святой крепости он человек, и душа благоуханная и чиста, яко черемуха...

Потрясли старики бородами, друг к другу чинно наклонясь. Святость святостью, а Гавриилу-юноше Котельникову доход от этого брака, как самовар — беззаботный.

Не устояла на стреме Саша. Звериным воем изошла. Порвала перины, карточное одеяло на полу, пух перинный, в слезах плавает. Тверд был, верно, в вере Гавриил-юноша Котельников. Молитву клал усердно, а на пещеры не очень заглядывался. Может, поспав с молодой женой, позже и в пещеры сбежал бы: крепок был душой, как кремень, а телом — как веник. А может, тисками да щипками умучил...

Идет коли Саша по деревне к изголовью острова, где мель и бывает такой разбой: вода речная разделяется на два рукава и перед изголовью, перед желтым песком синее волнение блещет, — идет посидеть на коряжине — в деревне будто парад. Глядит она в землю, а ресницами будто тень на

душу кладет... Кому вдруг середь лета сани понадобятся, бежит к соседу — ее встречает, кто потерял кнут, кто и в молельню захотел. Взглянут на грудь, на сарафан — руками разведут. Не спят трое суток потом... Не девка, а яруха.

Старики пошевелили языками, как гряды в затопленном огороде. Повела бровью Александра-киновиарх, как коршун крылом, — старики в один голос говорят:

— Делай молитвы на сводный брак, будет роду твоему благочестивое продолжение...

Отпустили Марешке и лыжникам сколь полагается соболей, рысей и прочих шкур. Старица Александра-киновиарх наставление напутственное прочитала. Каждогодный наказ Марешке — к табашникам близко не подходить. Отвечал ей Марешка, поясно кланяясь:

— Победим диавола, матушка наставница, перепрехом...

Вышли тихонько сборчатые кафтаны за дверь, еще тише в избе стало. Слышит шорохи и стоны старуха... Дочь вся в пуху лежит, не знают, как и помочь ей, гостиничные девки. Саша на мать глаза подняла: сразу прошло желанье сказать, что — не хочу за Гавриила-юношу Котельникова.

— Голова недужит?

— Ой, недужит, матушка, сильно недужит.

— Пройдет. На перинах не спи, положи две лестовки, пройдет. Да порадуйся: собор разрешил выдать тебя за Гавриила-юношу Котельникова. Спорить мне с собором где? На масляной свадьбу сыграем — надо мне наследника: видения смертные вижу, умирать пора... Женихом довольна?

— Довольна, матушка.

Посмотрела старуха на разорванную перину, клеть до свадьбы велела убрать, Саше на кошме спать. Старуха за скрепы, а у девки опять зенки в слезах. Пащенок, а не дите, — воет, кошму ногтями царапает. Никуда не уйти, в воду не броситься, а как вспомнит ноги жидкие Гавриила-юноши, — подмышками вода холодная потечет.

«Юрцованили» охотники-лыжники с Марешкой много раз к Трем Соснам — все надивоваться не могут. Маленький такой, черныш да загорыш, как чугун, стучит клюкой по деревьям, белкам подмигивает, смотрит все в пол, «маршрут» — бурак с припасами плечиками поправляет, и нипочем ему тайга и чернь, скалы и топи. Ближе в Трем Соснам— Марешка все веселей. Знакомо кругом, будто в табакерке.

Марешка зырян не любил: нажили на нем не одну «косулю сары», подушки себе в санях завели для мягкости. И то ведь — горносталей нипочем хватают, как белье на чердаке. А отойти в сторонку, согрешить, табачку понюхать, щепотку в сапог всунуть, побусить чайку — с зырянами любо.

— Дяденька, табак нюхать будем... — хохочут по дороге над ним глупыши-тянульщики.

Марешка брови нагнет, строгости — прямо старица сама.

— Вот заставлю лестовку считать...

Прошли они топи, камыши положенные перед Тремя Соснами, на реку, так и до сих дней не названную, выкатились. На холме, словно из заморского чудесного камня, три дерева корой блестят, посредине работников раздумный каменный стул, и на нем сорока перья чистит.

Лежит по всей поляне снег нетоптанный — одни сорочьи следы. Бывало, раньше костров сколько зыряне нажгут: жадный народ, приедут раньше срока дня за три, боятся — барыши б кто не перехватил. По ту сторону полянки стояла избушонка такая, вроде баньки. Мену кончат, натопят баньку, попарятся. Охладится банька, на тех же полках — спи.

Баню протопили, пересказал Марешка свои непотребные сказки, — артельный чудак был. Сказки грешные, да ведь в походе и раскольникам многое спускалось. Зырян всё нету. Хоть бы на сердце для легкости метель. А то —

тишина. Белка по ветвям скачет, как по струнам, — такая голосянка. За пять верст слышно как медведь в берлоге дышит.

Вот говорят — не играют трусы в карты. Марешка был трусишка, всей его жизни назначение — собачий нюх, а довелось ему в большой игре участвовать.

Стоит Марешка, с легкой «раструской» душевной, медвежье дыханье слушает. Взяла и его под конец оторопь, хоть и знает тайгу, как свою рубаху.

— Господи, спаси и помилуй, пронеси такой прислучай мимо моего двора...

Еще три дня обождали, а чтоб итти дальше, за Три Сосны, в помысел никому не пришло.

— Чума. За грехи на мир чума пришла. Пошто иначе зырянам не притти. Чудом мы сохранились...

Вытесал он, на случай, на сосновой коре раскольничий— дескать, были — крест... Еще немного обождали. Вздохнули, большой начал положили и пошли обратно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вот в Тобольске и находился тогда губпродкомиссаром этот самый Васька Запус. Претерпевал он многие штуки от своего сердца: любовь ведь, как темная карта — рубашкой вверх, кто знает, что она сулит. Тут не поможет и шулерство. И мешает опять-таки: ученому в занятиях, партийному в революциях, жулику — бестюремную жизнь вести. Одно понятие об ней — темчая карта, и каюк... Вот, возьмите мое существование, гражданин...

Ну, эти всякие разговоры — хрящи, а не мясо. Значит, так.

Распоряжение вождя Ильича об непе еще не произошло. Я не вдаюсь в рассуждение различных действий: мало знаком. Я отношусь к жизни фактически, а по моему факти-

ческому воззрению — «тырба» на добычи была и «слима»-дележечка. Из верхних и нижних карманов брали. Так и надо, не зевай.

Вот, значит, сидит в тобольском своем кабинете Васька Запус. Конечно, в валенках, рукавицы, для случая, рядом на столе. Вместо колец на руках телефоны. Собой: «моргаи» голубые, «сапай», как спичка, тонок, «хватай» красный, а на «острове-кивале» — золотая трава. Прямо хоть в песню.

Шоффер снизу ему по телефону: кто-то бензин последний спер, надо шоферу для сварки лопнувшей части бутылку спирту. В хорошей шубе комиссару ходить не полагалось: скажут — спёр. Поедала тогда шубы моль, ворам и то воровать их было стыдно — вроде мертвеца. Запусу в полушубке козлином на санях в заседание ехать — застынешь. Появляется тут секретарь, услышавший злые разговоры. Секретарю что? чин большой, сам беспартийный, — он тулуп носил и к тому же пуховую фуфайку.

— Вас там, — докладывает, — зыряне, по кулацкому сознанию от разверстки отвиливающие, желают для длительного разговора иметь.

Воззрился в его стекла Запус, пуховую фуфайку потряс.

— Гони их шире! Пускай разверстку платят, приму тогда.

— Никак невозможно. Дело, говорят, первосортное. Примите, пожалуйста, вне очереди, как международных делегатов.

— Да ты взятку упнул!

Замахался секретарь, негодуйно покраснел. В такое-то великое да расстрельное время — взятки. Сказал Запус грустно так:

— Вокруг советской чашки, будто вокруг волчьей ямы с булавами. Видно, пристрелю я тебя как-нибудь на досуге, любимый мой секретарь... Эх, разволновался я, давай сюда зырян-кулаков.

Зыряне все в барнаульских длиннеющих тулупах, красными кумачевыми опоясками перетянуты, шапки с плисовым верхом.

— Эх, вы, щетки-гребенки, граждане, что ж вы налогу не вносите?! Знаете — идет борьба не на живот, а на смерть на всех фронтах за социальное отечество... а с вас надо «старабачить» каких-нибудь пять тысяч белок. За такие дела-то... да со мной «не картавь», я по «херам» говорить могу.

И понес он, завяжи горе веревочкой...

Прерывает его самый красивый старик. Руками развел плавно, повел наикрасивейшую речь. До красоты Запус страдание всегда имел.

— Гражданин комиссар, белка — птица хитрая, а соболь среди всего зверя — как козырный туз. Сколько мук азартного игрока потерпишь ты, допреж ему в глаза попадешь, чтоб не портить шкурку. Мы тебе соболей в козках добудем: это значит — шкурку снимем без продольного разреза, будто рукавицу. Мы тебе соболя в пластинах принесем: это значит — с боковым разрезом, брюшко и хребет цельный мех. Мы тебе... А только на войне наши души поизносились, дрожат наши руки, будто у картежника барина-угнетателя, проигрывающего свое именье... Трудно теперь соболю в глаз бить, много тратим усилий и пороху. Обнищали, захудали, посуда у нас чуман из березовый коры — где теперь чугунок достанешь? Жировики жгём с салом. Вот и надо нам для сбора такого налога в пользу комиссаров и отечества никак не меньше восьми чистых пудов пороху...

Отвечает, до слез пробитый теми красивыми словами, Васька Запус.

— Дорогие граждане, вы мне рыжики — золотые слова не подкатывайте, я сам на колесах хожу. Как же это восемь пудов пороху, когда по всей губернии, что размером с Францию и Германию, вместе взятых, всего девять пудов

охотничьего пороху, не считая мильёнов патронов, которы мы всегда рады направить против врагов советской власти и всего... да... Надо вам столько пороху для поднятия восстания и наглого кулацкого бунта.

— Гражданин комиссар... — возражает ему старик.

Но тут прервал его Запус громким голосом:

— Я тоже ел миноги и баклажаны, а вы идите, красивый старик, к матеровой матери. Устал я от автомобилей и спецов-секретарей... Беру я непродолжительный отпуск, беру свой верный отряд матросов и еду в ваши кулацкие селения мощными словами выяснить обстоятельства порохового дела.

«Ну, — думают зыряне, — спознались с корюшкой (палачом), не миновать нам кряковки». Ведь сотни лет лежали они на полатях, ляжки у баб щупали. Ружьишками, для близиру, больше на уток промышляли. Перед глазами все сизая утиная цель в воде. А вдруг вздумает веселый комиссар экзамен — как, мол, стреляют. Чорт ее, белку-то, на вершине найдет. Кабы собака, а собаки все на уток учены. А коли веселый комиссар произведет учет ружей — их на все село три. Скажет — попрятали ружья. «Амба», конец зырянским полатям.

Собрали зыряне наикрасивейших баб и девок. Застольные песни велели вспоминать. Заготовить три мешка пельменей и Запуса у поскотины — у околицы «зенить, стремить». Пошли сами в лес, в землянки, самогон варить и придумывать такие красивые слова, чтоб наездить Запуса в своей любви к советской власти и губпродкому.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Вернулись лыжники от Трех Сосен тощие да бледные, как лен. Взад-назад сами на себе ведь сани тащили с мехами: лошадей в те походы не полагалось, считали — выдать может неразумная скотина заколебавшегося в древлей вере.

Марешка трясется: мантов (плетей), а то и в бугры (пещеры) угодишь, спасайся там. Не помогало и «перепрехом» слово.

Как увидали Марешку раскольники, узнали про исчезнувших зырян, — буза поднялась по деревне. Прут, у выпорковского крыльца все стропила пообломали. Голосянками заходили по своей «музыке»:

— Без пороху, братие, будто без стомика.

А стомиком называется брус такой деревянный, его в углу печи приделывают. Верят, что без стомика печь развалится, а по-моему — брешут.

— Не всегда ж на рыбе жить.

— Богохульство брось! Мясо не нужно — чугунки, железа нет. Сено косить нечем...

— Брат, во что порох ценишь! Про волков забыл, про видмедя?

— Нужен тебе видмедь, коли сам всегда на бабе виснешь. Соболью опушку на кафтан захотел для прельщения.

— Сам ты плисовый кафтан во сне видишь, кикимора!

— Пес поганый!

— Ирод!

Началась тут трескотня. В эту пору из-за угла выходит Дионисий - схимник, начетчик и наставник, обходительный человек. За ним идут другие, спустившиеся с горы пустынники. Собор внеочередной. Положил схимник на смутьянов-спорщиков большой крест.

— Дьявол смущает вас, жгет будто пал-траву. Положите подите перед иконами по лестовке, — пройдет. Какое пороховое зелье человеку, для чего оно ему?.. Огнь адский и так тяжек, — для чего прибавлять грехов. Без пороха надобно жить, кротостью да тишиною, да молитвой. Плюнь на мир Антихристов, плюнь да забудь...

Вот опять собор сидит, трясет бородой.

— Кто тебе, Марешка, про чуму сказал? — спросила тихая старица-наставница Александра.

Марешка со страху будто гриб-дождевик склизкий

— Следы... следы...

Видят — до грани струсил мужичок, глазами водит из угла в другой. «Звонка» нету, чтоб подсказать.

Понимает собор — дуга, справочка-то хворая.

А другого подходящего лыжника-водителя нет, кроме Марешки.

— Поди домой, Марешка, неделю бей пять раз в день начал по семь поклонов...

Вздохнула.

— Днесь благодать святого духа нас собра; днесь надо направить к Трем Соснам...

Но тут пришлось ей повыше голову-то, платком темным укутанную, повыше поднять. Тряхнул веригами, а вериги те от одного схимника-пустынника к другому по наследству переходили.

— Плюнь на мир Антихристов, матушка-наставница, не посылай туда никого. Прикажи птицу ловить кротко, силками, волка — ямами да самострелами, как деют то язычники-самоядь. Пошли Марешку срубить Три Сосны, а потом в пещеры под начал ко мне пусть идет, грехи замаливает. Забыть надо грешный мир... чадо Антихристово рождается каждый день и час: грех и блуд прозываемый — треязычный Аполонзий...

Подтянули ему в голосе против киновиарха другие пустынники, Митрофан-Голодун по прозвищу, Стефаний-Радостный, Петр-Благовестник. Да где ихним легким ковыльным голосом побороть поднявшуюся с лавки тихую старицу Александру.

— Полно, отцы святые, как муха-баба, в горницу влетевшая, крылья о потолок ломать. В пещеры-то вам хоть и малый, а запас нужен. Запасы-то селяне внизу добывают. Воды-то здесь студеные, работа тяжелая, — как при такой работе без железа обойтись? Землю суком ковырять не

будешь. От волка ямами не спасешься. Окаянный блудник Марешка ничего доподлинно не узнал. Зыряне, небось, у Трех Сосен ждут... А коли не ждут — послать к ним, в мир.

За спинами старцев кедровые стены даже колыхнулись.

— В мир?..

— Узнавать про мир и что там доспелось — пойдет Гавриил-юноша. Сосуд сей хоть и юн, но мудрости полн, тверд и древлекнижие, яко губа заморская воду, в себя впитал. Так ли?

Церковь не сеть — плетена в сто узлов, а — в тысячу сердец. Однакож будто сеть тряхнуть может ее пастырь мудрый.

Схимники только робостно веригами звякнули на те слова.

Преклонил тощую выю перед собором Гавриил-юноша. Марешка скорбно стоял у крыльца и думал: как ему с таким хлябалем итти.

Саша-то, дочка киновиаршая, поспать, покушать да попрыгать любила. В горницах-то тишина всегда, ладан да унынь. Собор хоть и старики, а все веселее — хоть шаги слышно. Хорошо она угоцала соборы.

Гавриилу-юноше говорит перед отходом:

— Ты там хорошенько смотри, в миру-то, подробно рассказать все чтобы...

Долго смотрела вслед. И нет метели, а кажется ей — метель подымается. И жалко и радостно. Постыл, леший, а кого еще? — все они на одно лицо. Лица синие да гнилые какие-то, будто дряблая береза. А тоже в мир понеслись, как желтые листья, на-шарап...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Галкин вдруг вспрыгнул. Братец Иванушка давно спал, сестрица Аленушка тоже, видно, устала и вздремнула. Сны,

как видно, по бестыдным ее глазам — беспокойные, горячие. Такой же сон и сейчас, должно быть, ей привиделся. Метнулась она яро бедрами — и вскинутая юбка освободила крапкое розовое тело. Галкин исступленно посмотрел на меня — заметил ли я, не дрогнул ли. До этого я все ждал, не проговорится ли Галкин, какая ж специальность и какие термины из всех, которые он при мне употреблял, ближе его ловким рукам. А тут увидал я, как глотает он слюну, в платок харкает, словно выхаркнуть хочет свою душу. «Сгоришь ты подле такой церкви, Галкин», — подумал я. Жалко мне его стало.

— Человек из-за любви в игре козырей забудет или с руками, полными козырей, колоду возьмет да и пересдаст.

— Так ведь вот со мной-то и бывало это! — воскликнул Галкин.

«Шулер», — узнал я. Узнал, и еще жалче мне стало его.

— Здоровой девке много ли для успокоения надо, — сказал я.

— Меня девка и не интересует, гражданин. Девка, Сашенка, скажем, много что, с тела сойдет, если ничего не выйдет. А герой может и жизнь и счастье потерять. Я вам сейчас о Запусе буду рассказывать.

В'езжает Запус со своим матросским отрядом в зырянское село. Баба наикрасивейшая с ведрами навстречу идет, смотрит на него от всего нижайшего почтения. Шубейка распахнута, качаются под кофтой телеса, как ведра с водой. Аж лошадь под Запусом подпрыгнула.

— Какие бабы-то на воле бродят, — говорит он.

Лошадь к ней повернул, а она вдруг в сторону шарахнулась, ведра на пол. Из-за сугроба рядом вылазит прямо на нее жидкий да большеголовый, как безмен, человечек в подряснике. Увидал церковь, сначала перекрестился двуперстно, а затем, разглядевши, сплюнул.

Запус с коня, маузер — к уху.

— Кто ты, слепыш, и откуда ты, контр-революционное отродье?

А того больше маузера сапоги щегольские лаковые. (Запус их перед самым селом надел, а то все в валенках ехал.) Глаз не спускает.

— Свят, свят... табашники, никониане...

— Или долгов много или дурак. Кудрявку-бабу испугал. Забрать его, товарищи! Такая харя только и может руководителем кулацкого восстания быть.

Зыряне как увидали раскольничьего начетчика, и на кудрявку-бабу с персидскими бровями надеяться перестали. Пробрало их с дробью. Раскольничьи доходы жалко терять, да и перед страхом — то ли согласились бы потерять. Страх хоть не тело, не дух — с крыльями, а и на нем к Бело-Острову не улетишь. Ждать, чтоб начетчик-вертун дорогу показал... знали они раскольничью твердость.

Занял Запус ту избу, куда красивая баба ведра понесла. Оставил ее с собой для ведения хозяйства, караулы пустил вокруг. Поманного — с собой рядом: узел восстания, дескать, в нем, и начал вести красивыми словами допрос. Тот только дыхалом: «Господи, поми, гос-поми»... А когда Васька закурил — грянул псалом.

— Ты мне вола не крути, я белогвардейскую хитрость с мясом прошел насквозь. Об'ясни, пожалуста, что ты за талыгай и где могла, от какого паука такая рожа родиться? Смотреть на тебя жохомно.

А начетчик, знай, псалмы тянет.

— Хорошо, что я в следователи не угодил, зря б паек жрал.

Плюнул Запус, пельмени начал есть, хозяйку, как бумажник свой, прощупывать. Безменный человечек в подряснике смотрит на пельмени жадно, голоден, курва. Отворачивается от Запусовых щипальных шуток — и никак не ест. «Экая, будто окорок, красивая твердость, — подумал Запус. —

Пельмени даже не ест». Положил рядом с собой начетчика, чтоб не убег: на улицу ли, к кудрявке-бабе ли. Ревнив был Запус, как турок.

Спать.

А ночь-то душная: печка пышет, на голбце баба мясами горит. Ждет Запус своего часу и никак не может понять — спит его безмен или нет. К полночи так, поднял Запус голову: будто храпнул подрясник. Васька ноги с лавки, тело сразу затвердело, будто корень.

Прислушивается, а тот бормочет, как в табакерке, тоненько так.

Васька было — к голбчику, к бабе. Но победила революция. Решил минуту послушать сонное бормотание. Наклонился, со рта подрясник тихонько стянул, — запах из рта паршивый, гнилой.

Из пятого в десятое разобрать можно. Бормочет: «Братия, Белоостровье, тихая обитель... спасители веры истинной... матушка-водительница... Сашенька... Приду... приду... разузнаю, разузнаю... принесу... принесу»...

— Белоостровье... — сказал Запус. — А чтой-то такое за Белоостровье?

Да как тряхнет этого чудака, как пивную бутылку.

— Белоостровье, что оно?

А тот спросонья и заори:

— Ждут!..

Запус — маузер за аркан, хозяйке-красавке к уху:

— Веди сюда немедленно самого красивого... с бородой!

Караульные долго хохотали бабе вслед: бежит, шуба надета прямо на рубаху, а рубаха задралась выше колен, сыра да тесна, — тело-то как яичко.

— Прохватил! хо-хо!.. От него побежишь!

Заиграл у зырянских бород Запус стальным чемоданом:

— Тут вам не кругалку-репу глодать, граждане, тут революция... Ведите на Белоостров, к штабу контр-револю-

ционеров, прямо наш матросский отряд. Красивый человек назначение жизни — как морковь понимает. Ты, красивый и красноречивый старик, будешь у меня за главного спутника... Выменивай свою жизнь, а то конец ее назначению... не за иголку в бороду все шесть пуль шмякну!

Красноречивый зырянин так и плюхнулся на лавку, как булка. Расстегнуть у рубахи ворота не может.

— Мы ж тебе пельмени... мы же бабу... а в Бел-Остров дорога нам известна до Трех Сосен, а дале тропы раскольничьи, по тесь, по скрытым приметам.

— Мы без суеверий, у нас на все прогноз. Натягивай теплухи и веди! — сказал Запус, аркан вокруг маузера заматывая. — Веди пока до этих самых Пяти Сосен, а там разберемся... А бабу вашу я не загорбил, не нравится она мне, телом жидка и вообще сварлива.

*

Неизвестно-безменный человек сам на лошадь не сел, пришлось его привязать веревками. Да и лошади скоро не понадобились: тайга, снега глубокие, как море. Матросы, понимавшие в лыжах, — с Запусом, а безлыжные в село вернулись. «Похлился отряд на стуках»: значит, пешочком, своими ногами, с мешком на горбу.

Запус весь в наблюдении за безменным человечком, отставать тот норовит, пошатывается.

«Экое упорство, — думает Запус. — Может, действительно, не штаб там белогвардейский, а монастырь». Спросил красноречивого зырянина, давно ли на острове раскольники и много ли их там.

Уксусно отвечает ему красноречивец: раскольники живут давно и много их наплодилось. Тысячи, а какие — неизвестно.

— Сеют?

— Будто сеют.

Запус тотчас же велел замки винтовок проверить и посожалел, что не захватили с собой пулеметную чертоплешину.

— Тем более, если сеют. Хуже заговора: почему не платят продразверстку в напряженные моменты?..

И понес...

А собаки зырянские в снегу катаются. Говорит Запусу красноречивец:

— Метель будет.

А Запус весь в расчетах — сколько же можно продналогу собрать с раскольников? Может, их там целая волость.

— С десяточек бы нам таких островов пооткрывать, с честью бы мы тогда по всей губернии продразверстку выполнили.

— В карты играешь, а мастей не знаешь, — упреждает его зырянин. — Собаки катаются, метель будет.

— Не буси, ты на собаку не смотри: что она — умнее человека? Вот кабы барометр... мог бы безусловно поверить.

А безменный человек, услышав про метель, успел улыбнуться, Запус ту улыбку не видал, но по дыханию понял.

— Ты, гражданин, хитрость-то брысни, не сласти мой сахар. Думаешь — метель нас возьмет. Шалишь! Теперь даже всемирный потоп будь, я вас с вашими овинами под морем найду. Все топи и болота мелиотирую, леса повырублю, «больше широва, тем склешевей»... Так живем...

Хвастливые слова на безменного человечка — как залежалый и праховый товар.

Тогда сказал Запус:

— А известно ли вам, гражданин, что в России скоро десятилетие советской крестьянской власти и давно царь свергнут? Что Россия без царя живет?

Человечек встрепенулся, потянулся к Запусу. Тот велел путы ему развязать. Будто впервые разглядел человечек на шапке Запуса красную звездочку. Начал чудить.

— Христос, Христос, звезда вифлеемская, осанна...

Староверы — народ сплошь иносказательный, понять такого где веселому матросу.

Закурил лишний раз Запус.

— Там, на местах разберемся. В речи какой-то близир, а вообще-то чорт их разберет!

Хотел, видно, безменный человечек порасспросить, что-то забродило в нем: две тропы более кратких показал даже, а там скрытость кержацкая победила, опять стих и псалмы загнусавил.

Скоро побежала среди мелких сосенек поземка, лыжи стала засыпать, валенки. Поднялась выше, и маковки сосенок скрылись в снег, будто вор в удачную кражу.

— Метель, — сказали зыряне. — Влопались мы.

— А далеко ли до Трех Сосен, граждане?

— До Трех Сосен, товарищ, пять часов еще ходу.

— Труба! Кроем! — и кинулся быстро вперед Запус.

А где ж было успеть...

Как ударило по верхушкам кедров, как засвистало, сугробы из-под ног валами вверх пошли, а ветки кедров будто по ногам ударили. Снег аж синий сделался — никогда такого снегу Запус не видал. Прислонился к стволу, на минуту ошалел даже. Вспомнил раскольника-начетчика, закричал:

— Вяжи его, сукина сына, убежит!

А безменный человечек успел лататы задать. Унесло его от них, как снежинку.

Держась за вожжу, кинулся Запус в метель, весь маузер разрядил. Пустой вернулся к товарищам, что хороводом вокруг дерева.

— Достану, пускай только стихнет. Не быть мне продкомиссаром, если не достану.

Зыряне — народ смышленый, вынули топоры, кедр срубили и полезли на него: в ветвях сидеть удобнее, высоко,

снегом не занесет. Просидели такими воронами сколько, не знаю, часов. Лыжи к плечам привязали, жуют сухари. Мести — мети, тайгу ведь не сметешь — по снегу итти все равно: саженью ли выше, саженью ли ниже.

Метель кончилась, следы начетчика унесла с собой в кармане.

Запус торопит свой отряд к Трем Соснам. Думает — перехватит начетчика. Награду обещал: снять продразверстку, кто первый прибежит. Зыряне и вдарили, пар столбом от них, рожи алым-алы, тело сухое, а они наклонятся койкогда, бороды снегом помочат и дальше.

Выбежали к Трем Соснам.

Поляна чистая, снежная. Посередь Трех Сосен камень, на камне сорока сидит, перья чистит. Был ли, нет ли человек — разве сорока скажет?

На запад от холма, в толоконниках сугроб большой виднеется, идет пар из какого ни на есть отверстия, будто из медвежьей берлоги. Начали копать, докопались — землянка. Снег от дверей откидали, и сшануло в рыло им банное тепло. Камни в каменке горячие, стоит на столе туес с просой, и рядом — рукавица.

Запус эту рукавицу — будто злодея за горло.

— Здесь он, поблизости! Я этого Сусанина схапаю, он у меня получит в лоб свинцовую разверстку!

И такая морда стала, даже матросы со страху заморгали. Зыряне — хоть в каменку. Проморгались, а от Запуса только след по камышам. Видно — здесь грудью камыш растерт, здесь расшвырян, а там ногой упирался.

Зыряне в камыши идут нехотя, всё липнут друг к другу, как старые карты.

Сумерки надвинулись. Пришлось вернуться в избушку. Костер зажгли. Стреляют по-очереди в воздух.

Поземка вновь.

Зыряне трясутся: заметет следы, кому отвечать? — им.

Кинулись в ночь.

Шарят.

Воют.

Нет Запуса.

Пропал Запус.

Заблудился! Конец его красоте!

Весь день метались по камышам, следы занесло, камыши и так спутаны, как волосы от долгого сна. Где тут разобраться? И верно, пришлось ответ держать зырянам перед матросскими шинелями. Постреляли матросы весь запас в воздух; по пять патронов когда осталось, стабунились они в злобную шайку, сказали зырянам:

— Затырили вы, халдеи, нашего камандера, Ваську Запуса. Вся эта лавочка вами подстроена, нет у нас теперь индивидуального террору... как поляки Сусанина убили. Берем мы вас, кулаков-богатеев, под пролетарский суд в заложники.

И наикрасивейшие зырянские бабы не помогли: от баб матросы не отказались, но зырян всех, у кого в селе Черно-Орехово было в избе более пяти окон, увезли с собой.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Урожались и на Белом Острове постельные девки-дряпки. Только их по соборному слову в такие места ссылали, что через год — клади в колоду, да на кладбище. Мужики каялись, что тревожили сердце на этаких мордоворотах. А тут вдруг появилась дряпка Авдовка: собой невеличка, а в год почти со всем Островом переспала. Сослал ее собор, через положенный срок вернули, думали — сгнила на гольцах-то, в рыболовных промыслах. А ее на тех гольцах расперло вдвое шире, щеки крепкие да быстрые на улыбку. Прямо красная рыба. Поселилась в хатенке своей, ходит в темном, платком укуталась — глаза да нос видно, у наставников мо-

литвы берет. Смиренница. А в хатенке от мужиков проходу нет, порог бродняки стесали, и пропахли все пазы в избенке едким, до жжения глаз, блудом.

Видно — темной ересью запахло в селе.

Имелось в горах, за березовыми дубровами, било чугунное. Из Перми предки привезли. В столетие столь вызвонилось, — как ударят, так словно стеклышко покатится по всему Острову. Вставали бабы по тому билу на доение коров. Ночью, слыша его, с умилением вспоминал народ о молитвенниках-схимниках.

Утром раз проспали бабы вставальную пору.

И в обед и в паужин молчало било.

Разговор появился: расспорились будто схимники — слово придумали. Какое слово — никто сказать не мог, даже и догадываться боялись.

А в паужин встретила дряпка Авдовка у поскотины, там, где идет дорога в скиты (и зачем ее направило зимой к поскотине — никто спросить не догадался, такая мутъ нашла), увидала старца Митрофана-Голодуна. На камне стоит, благословляет село, лес, суметы, а пещерам грозит. Посмотрел на нее, пальцем поманил. Со страху трое суток не могла спать с мужиками, затвердела и засохла кожа, как у змеи в линяние. Решили — могилу намекает ей старец, а получилось другое.

Прибежал Гавриил-юноша с лыжниками.

Первому встречному брякнул: в Руси царя нет, народ в крестьянской вере утвердился, ходит под вифлеемской звездой, во всем сомневается и — скрытен...

Больше всех обрадовалась дряпка Авдовка. Медовухи достали такой, что небо жжёт (своя свадебная, да и многие прочих бадьи выпиты были давно). Блуд в хибарке неудержный пошел.

— Ссылать — так ссылать, гольцы — так гольцы!..

А собору не до Авдовки. Скамьи повалены, шум и гам, схимников-пустынников с горы полную горницу наперло. Кто поет, кто плачет.

Тут Гавриил-юноша хватил себя за бороденку — лишнее брякнул. Главное, сам понять не может: старая вера в миру или никонианская. Зачем народу царя прогонять, если не из-за старой веры. Поверить златокудрому воину, привести с собой — может всю почесть выхода из тайги на себя принять. Правильно, что сбежал.

Пустынники — как дети. Перестанут псалмы петь, кричат:

— Осанна, конец мученическим диадемам, восторжествовало двуперстье по всей земле, прогнал народ Антихристова царя и его слуг! Люди Христа ждут, ходят под вифлеемской звездой. Зелье пороховое отменено, и оружие на орала перековано!

Цыкнула тихая старица Александра:

— Опять ничего твердого в вестях не имам. Может, и к нам шел воин Андонисий, может, это и Антихристов слуга под ликом Христа. Дельное доспел Гавриил-юноша, скрывшись от воинов. К Трем Соснам сама поеду, познаю святую истину.

В сенях Саша поймала Гавриила-юношу, за перехват выше кисти уцепилась:

— Правду ли говоришь, что древляя вера пришла и в Русь уйдем?.. Реку Иртыш увидим, Пермь-город, Волгу, все, что в песнях поется? Про Андонисия расскажи: шлем у него какой и меч есть ли?..

Гавриил-юноша только рукой отмахнулся, — в другое время и рад бы слово получить, а тут ушел. Хотелось ему, вишь, подражать примеру древлих отец, киновиархом многих обителей быть, жить вволю. Есть хлеб ячменный, да чтоб ячмень тот рядили чистые жены: у каждого ячменного зернышка скорлупу ножиком соскабливали, чищеные таким

манером зерна мололи в особой мельнице. Варили живую рыбу чтоб ему, лапшу делали из топленого молока со снимаными пенками...

Мудрят многие, а мудрецов нету.

До самого от'езда киновиарха-Александры ничего не придумал.

Запрягли в росшивни чубарых могутных коней. Туман над горой Благодать поднялся кверху — будет вёдро. На облучок Марешкин ученик-лыжник уселся, — сам Марешка прихварывал. Заиграли соколки — грудинки у лошадей, снег засвистал, ямщик гикнул, — и нету в селении старицы.

А в зырянской деревне Черно-Орехово так было: бабы зырянские, на луне избалованные, изголодались из-за войны по мужикам. Не успели вернуться, на полатях расположиться как следует, — тут и увезли матросы мужиков в тюрьму. Печь без мужика сколько ни топи — тело с одного боку жжет. Думали-думали они над постелями, плакали-плакали они над одеялами, отрядили сколько ни на есть баб к Трем Соснам: коли раскольники выйдут, выкупить у них комиссара Запуса или обманом к ним дорогу на Бел-Остров узнать. Сидят отряженные бабы в охотничьей баньке. Попарятся, в снегу поваляются, чайку попьют и опять ждут. И происходит такое дело. Вкатывают на рассвете к Трем Соснам сани-росшивы, ковром крыты, в коврах строгая раскольничья мамка сидит. Выходит из саней, батог у ней толщиною в завязь руки.

— Правда, жены, что на Русь старая вера возвратилась?

Которая баба похитрее, чтоб в добрые войти, нужное выпросить, говорит:

— Пришла, матушка, пришла.

А самая что ни на есть молодая, по мужу наискучавшая, выскочила вперед:

— Ты, матушка, сколько за комиссара выкупу хочешь? Как к вам поближе на Бел-Остров пройти, сторговаться?

Хватила ее батогом по голове старуха.

— Соглядатаи, Антихристовы слуги, кого караулите, кого обмануть хотите?!

И ни слова не говоря больше — в сани, перекрестилась на восток, и помчали обратно ее могутные чубарые кони по камышам да по скалам, будто по облакам.

Бабы молодуху бить, да только толк-то из того какой?

★

Уехала тихая наставленница Александра, по селу некоторое послабление прошло. Мужики кафтаны расстегнули, не так сдвигают низко на лоб бабы платки. Бывало, не переспишь, из-за смертной болезни в молельню только не придешь. Заглядывала сама в квашни — не скоромно ли; медовуху-брагу пробовала — не очень ли крепка.

Укатала молодежь гору, полила до синевы водой, настроила салазок: масленица и — никаких.

Катушка с горы — прямо на лед, где Саша летом любила по вечерам сидеть. Разбой там у самой изголови острова, вода речная на два рукава разделяется. По ту сторону камыши бескрайние, за камышами топи с медно-ярыми охнами да синие кочки. А на кочках — леший да сестры-лихоманки.

Народ-то, молодяжник, вокруг Саши будто ребятишки: малый, кривоногий, слабый, лицами все болотисты, безбровы и будто безглазы. Она салазки успеет три раза прогнать, а парни и по одному еле-еле, дойдут до верху катушки: глаза на лоб, лопнуть хочут. Подумала Саша: «На Руси народ-то таков ли?..»

Повыше катушки лесок, за леском елани-поляны, за еланями — пещеры пустынников. Никто не догадается даже, что схимники-пустынники, один от другого прячась, повылезли из келий-пещер, за камнями, за корягами прижались — и слушают, как по морозу к ним девичьи голоса через лес

несутся. Колени дрожат, по бородам слюна течет. Пакость!

А Саша глядит это вперед на сугробы, что как волны, на бескрайние камыши, на синие согры за ними да на синий осиновый лес за согрями.

— Эх, и укатила бы я, девоньки, далеко-о!

А тут под ухо ей:

— Лети, Сашенька, вот!..

Гавриил-юноша с салазками, Марешке заказывал, полгода обещал дарма кормить. И доспел же ему Марешка! Полозья широки, быдто у лыж, ни в каком снегу не увязнут, а по льду мчатся — посредине выступает шириной с мизинчик дорогая стальная шиночка, по бокам оторочена она, для снежного скольжения, шкурой с ноги молодого лося.

— Дай, Сашенька, я позади поеду. Править буду.

А та в смех.

— Править хочешь? Вот сведут нас на молитве, будешь править. А сейчас голова перевесит, санки опрокинешь.

Подруги смеются. Отшила, выходит.

— Сама править буду! Их, и полечу-у!.. Поднимусь вот как повыше, да оттуда...

К самому лесу почти ушла.

Села. Крикнула. Схимники за лесом соком изошли.

Остался позади черный безмен, Гавриил-юноша.

Платки девушек-подружек мелькнули мимо.

Наледь катушки взвизгнула под шинами санок.

Руки у Саши дубовые, правильные палочки не дрогнут. Лед из-под полозьев звенит, брызги-то холодные да серебристо-синие, глаза порошит.

Быстрее, сильнее!

Платок слетел. Косы по ветру, как ледяная стала коса.

Кончился наливной лед. Конец катушки.

А она — уже на реку! Копна пушистого да горячего снега — в лицо!

Шипит под полозьями камыш, по глазам хлещет, острый такой.

А санки все дальше да дальше...

А Саша-то:

— Так, так!..

Ну, а тут санки — на кочку, Саша — колесом и в сугроб, будто в сон...

Барахтается, валенками пурхается — и, на́ тебе, вдруг перед лицом протягивается ей на помощь лохматая рукавица. В камышах над ней, на лыжах, с палкой, с котомкой, в остроконечном суконном шлеме, в желтом полушубке — кто?.. а сам исходит мелкой морозной дрожью. Губы алые, а поверх легким ледком покрыты, будто лаком. Говорит, а лед сыплется:

— Кра-а-аса-вица... меняю свою жизнь... как бумажник. Шири-мури, давай руку, подниму.

А где поднять, сам еле стоит. Девку ж ему всю будто часовую цепочку видно.

— Думал мир на-шарап взять, а чуть на небо не угодил. По сарафану судя, буду я, красавица, на Белом Острове. А?.. Насчет про-ле-та-ри-ата... Не могу такое слова на морозе говорить, не русское слово. Температуру для такого слова — пятьдесят градусов баня...

А та его видит, на него — словно через ледяную сетку: все лицо у ней в снегу. «Бредит, — думает, — парень-то, изошелся»...

— Ты шары не пучь! Натягивай теплухи, беги! Или доно-си или — хлеба. Жрать хочу! Пять суток по сугробам, за все время — зверюгу какую-то пулей, да и ту наполовину разорвало. Система «Маузер», не для такой охоты. Жрать хочу я... я жрать хочу, ну?!

Опамятовалась, наконец, Саша, рукавами затрясла, санки подхватила — и в гору.

Запус и вслед ей не посмотрел.

Саша на гору вскочила, будто на три ступеньки. Сунула салазки Гавриилу-юноше, — подожди, дескать, домой сбегаю, в пимы снег набился, портянки мокрые.

Насовала в рукава хлеба, из горшка мясо выхватила, в тряпке сунула за пазуху. Бежит, а грудь жжет — не то сердце свое, не то варево.

Выхватила у Гавриила-юноши салазки, и весь путь уже и ни снегу, ни льда, ни камыша не чувствовала. Все-то ей кажется: тихо санки летят да — того гляди — опрокинутся. А парни да девки вслед ей гикают, за камнями пустынники любовным соком исходят.

— Нашего сукна епанча, — говорит ей Запус, вырывая хлеб. — Славно едите... спасибо. Запасов, видно, много?..

Мясом чуть не подавился, а как с'ел — в сон поклонило.

— Тепло, как сапожнику за верстаком. Теперь бы рюмочку.

В сугроб влез, ноги поджал.

— Теперь ты, девка, примечай, куда галки летят, раз у тебя душа общественная. Ночью приди, уведешь меня в овин или во что похожее к нашей продовольственной части, чорт бы ее драл! Я с мыслями соберусь, перхунчика одного тут прищеплю, да мне обратно...

Косы ей голову назад оттягивали, лицо-то на пригорке— как церковь. А под бровью и строгость и милость.

— Погибну я из-за красоты. Ведь если этакая пожалеет, в раскольники нетрудно перейти, да что в раскольники...

Вечером перевела его Саша в старую брошенную баню на задах Выпорковых пригонов.

Зажег Запус спичку, осветил, поглядел ей в глаза:

— Ишь, моргалы-то вырастила!..

Раньше баб крушил, будто кедровые орешки, а здесь — в груди теснит, в виске бьет, и даже нижняя челюсть ноет. Трех слов сказать не мог, не то что, по старой привычке, за чресла.

Высунул голову в предбанник, заскрипели за Сашей тесовые ворота, собака гавкнула — тоскливо так.

— Да, жизненка-то не бумажник, не все прощупашь. Куда бы хорошо в губпродкоме на пленуме сидеть, со звонком доклад слушать. Они теперь, небось, сидят, место для моей могилы выбирают — куда почетнее похоронить. Обязательно на площади зароют, а там грузовики мимо-то, чорт бы их драл... да...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Про дряпку Авдовку много болтали. Некогда болтовню было слушать, а по-моему, напрасно: через постельных таких дряпок отлично судьба разбирается...

В соборе шум сколько дней, иносказаньями весь смысл речей забили. Дошли до того, что стали обсуждать, кто на каком месте должен стоять, когда придут из «мира» посланные за светочами истинной веры. Главную муть начетчики-пустынники разводили. Сидят пятеро в ряд, торопиться им некуда, над каждым словом мудрствуют, под каждое слово або текст из священного, або мудрое иносказание. Старцы в «мир» хотят, веруют, а тихая старица Александра да Гавриил юноша — сомневаются. Вот и судят, а стольники замотались, за хозяйством приглядывать некому: Саша только в скотный двор и заглядывает, в иное место ее и не выманишь. Все сама убирает на скотном: сено задает, воды из колодца в колоды начерпает, убирает навоз. Смирения — не подступись. Обет, что ли? Про жениха и забыла, а тот совсем премудрым своим умом заболтался. Надо, грит, ждать — придут из «мира» с поклонами. Со схимниками ехидничает: что вам, дескать, «мир», когда жизнь ваша одной ногой в загробной жизни, — еще не доживете, не вытерпите перевозу... Куда спешить?.. А схимники: «А если где еще остатки старой веры сохранились, да если поискажена та вера, да если раньше нас в «мир» придут?..»

Шумят, орут. А под окнами начали мужики помоложе собираться. Встанут и слушают, отойдут, пошепчутся — и опять к окну. На лицах-то — сумление. Штука-то простая, а на Белом Острове не виданная. Да-а...

Старицу Александру юноша-Гавриил таким образом под клюв ухватил. Было, грит, мне видение. Глас возопил: «Явятся семь покаявшихся никонианских епископов на поклон Бело-Острову. Топи высохнут, и по сухой дороге в цветущую весну, посреди черемухи и боярышника, пройдем мы в «мир» с благими вестями».

Поверила или нет — не знаю. Чего ж не верить, и на самом деле могло ему такое присниться. Ел мало, ночи не досыпал, на тело девственник.

Указала старица на провидца и громким голосом, будто доход получила, говорит:

— Бороды у вас, схимники, по чресла, а ни одному из вас не было видений, не удостоил бог. Се кроткий юноша указует нам стезю к труду, ожиданию и молитве. Будет время, церковь, яко утица крякнет, по всему миру звякнет: утята побегут. Подымите лестовки с подручниками, очистите себя от грехов, достойно да примем семь никонианских раскаявшихся епископов. И будет тогда зело радостен и светел собор.

Старцы-пустынники вериги перетрусают, не успокаиваются.

— Посмотри в окно, матушка-наставница, голос молодого естества ходит под окнами... ждут, чтоб в «мир» уйти. Како, кроткая мати, мы усмирим сие естество?

— Бейте билю на всеночные бдения. Будем читать и пояснять им Маргарит, Ефрема Сирина, псалтырь старопечатную... живым, простым толкованием. Позовем премудрого старца Платона... Пусть будет им любо посидеть в молельной, повздыхать до самого донышка сердца и всплакнуть не один раз...

Вышла она за ворота, а там у высокого бревенчатого забора стоит молодяжник и пимиками о забор постукивает.

— Што вы тут, мокрецы, ходите и лапами о завалинки, яко псы, истекающие похотью, стучите. Ступайте по хлевам и пригонам, будьте кроткими пастырями, у ягнят учитесь кротости, у вола — терпению, если не может вас человек научить. Эвон Саша-то, дочь сама себя на работу сослала... А пока в молельню подите. Наставник придет — положите по лестовке, наставление прослушаете из Сирина...

Один, розовый такой, по фамилии Пономарев, рот было открыл, да не услышала старица, задавили его все возгласом:

— Аминь!

И пошли — к Авдовкиным воротам. Которые сутки бродили за ней следом, на четвертые — взбродили, а на пятые как влипли, так и не отставали. Вот тебе и лестовка.

А старица к образам вернулась, кости-то старые, тяжело гнуть. Помощь да вразумление долго не даются. Петухи запели, било зазвенело на горе Благодати. Метель над островом понеслась. Занесло дорогу к Трем Соснам — будто и мыслей не осталось об этой дороге. Волки в тайге завыли. И на долгую молитву встали пустынники.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Ведь будто в тюрьме сидит человек, Запус-то, а поди ты: свесит ноги с полки, в окошко, пузырем затянутое, глядит и насвистывает. Пока свистит — ни о чем думать не хочется, как перестанет— сумрак какой-то из окна полезет, об могилках раскольничьих думать начнет: когда в баню крался, то мимо кладбища. Голубцы такие над могилками стоят вроде бревенчатых срубов, кровельки двускатные с крестиками. Тоска. А главное — внутри сосет. Не от трусости...

Трусость-то, он понимал, какая была (это вы не верьте, что будто есть такие герои — не трусили: из сказок таких выудили), а вот непонятно ему, почему не может девку лапать, пока та губами не поведет так просто — все поймешь. За девку готов сгореть, за девку... Э, да что тут описывать! Пожары бывают, тысячи верст сгорает тайги, самой сокровенной скрытности, а тут один человек... А вот в тайге разберешься, в пожаре, а в человеке...

...Простите, я все на себя сворачиваю, у меня тоже Запусова мука, однако же говорить об этом — лишнее... Уж я вам одну сказку окончу...

Метель, пурга началась, и смог он тогда ночью протопить баньку, а то дюже холодно было. Тоже топка-то смешная была, да речь-то не об этом. Помылся он противным раскольничьим мылом, гнилыми кишками пахнущим, с души будто слегло, а немного спустя опять нахлынуло.

И чтоб Сашу ждать — не ждал очень. Да и она войдет, подойник поставит, улыбнется туго, как будто не умеет.

— Хватит? — спросит.

— Хватит, — ответит Запус и засвистит полегоньку.

Поправит она ему на полке провизию, вкось посмотрит на кудри его. Баня-то по-черному, сажа на стенах будто бархат, а кудри-то по саже золоты, будто хмель спелый. И уйдет.

При такой штуке никакими инструкциями не поможешь.

Собор кончился, пустынники ушли в горы. Одолело вдруг Гавриила-юношу сомнение: почему Саша на улицу не показывается, наложила обет, в пригоны ушла. Призвал он Марешку:

— Буду тебя держать в сале, как окорок, еще год. Проследи и допытайся, с чего это Саша на улицу не показывается, меня видеть не хочет... Да не обидь, ты ведь на язык дерзок.

Марешка — рад. Ходить ему по людям, что по зверю. Сумерок дождался, поскитался по обширному выпорковскому двору. Только Саша с подойником на двор, он за ней. Пригоны там крытые, да и дворы кроют часто. Сумрак. Марешка-то и так не больше суслика — где увидать. Да она и не оглядывается, спешит, задержали в горнице, думает — проголодался парень.

Запус-то в этот вечер стабунил себя: надо ж сказать ей, если о своей душе не может, то о социальном перевороте-то на Руси. А то что ж получается? Откармливает, как борова, колода готова, а в какую игру сдавать? Она в дверь, Запус трубой с полки, и только она рот открыла спросить: «Хватит?» — смотрит он, что за диковинная морда из-за подола у ней в баньку пялится. Коробка спичечная — не коробка, глазенки, словно гвоздики стертые. Запус подозрительность за плечо, прочь — и потяг человечью диковину.

— Ах, ты, зеница, куда-а!..

А тот из рук — будто сальный. Запус его уже в сугробе догнал. Для прекращения крика всунул его пару раз головой в снег, в баню втащил.

— Запали-ка, девка, светильню... По-моему, сигун это от Трех моих Сосен. Колодник, а ну-ка, за горбом какая проскамедия!..

Раздул он в каменке уголья, к огню Марешку подтащил.

— Марешка, — об'яснила ему Саша, — лыжник-путник наш, тропы ведает к Трем Соснам.

— Вроде разведчика?

Не поняла.

— Передовой?

— Путник.

— Я сейчас у него все выскребу.

Шарфом ему рот завязал. Саша от смеху даже плечиком повела. И Запус рассмеялся, по маузеру пальцем постукал.

— Ты, как тебя, морковка! Я тебя буду допрашивать, а ты головой кивай. Не понравится мне в каком месте киваешь, кирпичом по башке и в прорубь. Понял?

Кивнул.

— Из таких инструментов толк слышал?

Кивнул.

— По какому случаю, слышал?

Кивнул.

Погладил Запус маузер.

— Хороший чемодан, действительно.

И Саша тогда пальцем маузер тоже тронула. Пальцы у ней легкие, будто птичье дыханье. Положил на ее пальцы руку свою Запус — и даже Марешку погладить захотелось. Наклонился, а она губами шевельнула. И будто река в сердце к Запусу хлынула. Ласково так говорит Марешке.

— Помирать ведь никому не хочется, жить ведь надо. Может, поведешь ты, мой друг, нас к Трем Соснам, обвенчаешь.

И кивка ждать не стал, спешит.

— Я тебе всю контр-революцию прощу, дам тебе должность в губпродкоме, кашеваром в свой отряд назначу, и дослужишься ты со временем до ордена Трудового Знамени. А?..

Кивнул Марешка. Поцеловал его тогда в паршивые его губы Запус, поцеловала и Саша. Путы сняли, принесла немного погодя Саша три калаузика, — мешки этакие, опушку стягивают шнурком, вместимостью в пуд, за плечами лежат как живые горбы. Лыжи добыли, да и ночью по сугробам собаки их проводили через камыши к осиновому голубому лесу, к соргам. Собаки там отстали, повыли на волков и вернулись.

Поземка — счастливица и несчастливица, ей все равно — неслась. Ходоки веселые, и ей весело. Снял Марешка шапку, положил большой крест.

— Ей-богу, барин, думал — мне не жить. Ночь-то синяя да месячная, лыжа-то веселая, легкая, далеко умахаем за ночь, а ты все равно не тужи: где им меня ловить, кожеедам. Я вас такими тропами поведу, и волки не знают... Зато уж в городе-то и накурюсь же, господи...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Горе-то материнское в песнях все перепето, а лучше песни как расскажешь. Судите, гражданин, сами. На Острове матери-наставнице, будто в улье матке, почет. Шапку перед ней снимали за два переулка, в молельне — первое место, и в раю ж место уже уготовано.

А тут дочь-то сбежала, да с кем: табашник, старикашка, Марешка-охальник, нетяг.

Будто смолой затопило сердце у старицы. Молодежь было кинулась в лес в погоню, сказала старица:

— Не надо, до конца хочу терпеть. Слаба была с ней, бог наказывает.

А где там — слаба! Хотела вспомнить, целовала ли ее взрослую, и не могла припомнить такого случая.

— Слаба, слаба... — утешает себя.

Ну, тут схимники-пустынники и начали всяческие мысли, как лапти на одну колоду, плести: без города Тобольска теперь не обойтись, дескать, епископов раскаявшихся ждать, дескать — куда... Спустились они толпой с гор и прямо к кузнице, вериги расковывать. Кузнец у дряпки Авдовки был. Так что ж вы думаете... Ошалел народ — поперли к Авдовке. Не знаю, скорей всего — брешут про схимников-пустынников. Кузнец-то будто пьян был после медовухи, на Авдовкиной кровати храпел. И будто схимники раскачивали-раскачивали его, устали, один и пригуби медовухи. Шире-боле, дальше — толще. Пошло смущение по пастве: умудренные в

книжной премудрости уставщики, поседелые над молитвой, кровью-то не охладились...

И как узнала о том тихая старица Александра-киновиарх, волосы седые распустила, бежит по улице, кричит:

— Прости меня, господи, окаянную! В грехах, в непотребных мыслях зачала дочь... Сына еще хотела, мужа остаться уговаривала... мужа, святого старца от спасения души уговаривала... Святители, угодники!..

Распахивает Авдовкину дверь. Не знаю, от старости или от плоти ли взбунтовавшейся, а может, и от долгих молитв разумом рехнулся, — только посереди прочих опившихся пустынников лежит, уткнувшись в голую Авдовкину ногу бородой, лежит, пьян и мерзок сам, не спускавшийся с горы девятнадцать лет великий схимник-пустынник Платон Выпорков.

Остальное брехня, да так уж — из сказки слова не выкинешь: будто батогом била старица пустынников, будто самого-то велела помоями облить и увезти в гору и там в самую противную яму бросить. Будто Авдошка нагой, в смради измазанной, валяясь по кровати, кричала ей в исступлении: «Не пьешь?! Не нравится?! Дождалась я своего царства!..» — будто старица велела Авдовку голым соблазном на снег посадить, а там чуть не сжечь.

А вот доподлинно известно: всем миром встали посреди улицы на колени, в грехах друг у друга каялись, плевали друг другу в лицо и по снегу проползли в молельню, а там не пивши, не евши три дня под-ряд молились. От такой молитвы показалось им, что образа просветлели, улыбнулся им кроткий лик Христа, — все мы, дескать, люди, все человеки. Закричал и стар и млад в голос:

— Победим, Христе Исусе, победим, перепрехом!

И приказала тихая старица Александра-киновиарх.

— В «мир», братие, в Русь.

Вот здесь-то и почуял свою силу Гавриил-юноша. Ему и самому теперь хотелось в Русь. Спрашивают мужики:

— Готовить подводы-то?

Молчит старица. Гавриил Котельников начинает тогда распоряжаться:

— Четверку под кошеву киновиарха, тройку под схимников, три пары под певчих, остальные пойдут одноконно.

Говорит ему старица:

— Благие вести услышишь ты в Москве, придется тебе мой костыль взять, итти... А мне сдается — идут мои последние часы.

И до самого от'езда, когда ее в кошеву под-руки свели, не подымалась она с молельного коврика.

Саней, я не знаю точно, небось, с тысячу насбиралось. Скот весь да и скарбу много пришлось оставить под присмотром самых недужных. Ворота тесовые плахами забили, в молельню сторожем выпросился многогрешный Платон. Положили дорожный начал, осмотрели, крепко ли завязаны воза. Впереди, в санях запряженных парой — с иконами пустынники, за ними хоры ангельские псалмы по крюкам распевают, дале в кошеве киновиарх, позади хоругви золотые развеваются. А в конце — обозы, стая собак.

Белка, дивуясь, прыгает над кедром на сажень, медведь от санного скрипа и свиста бичей высовывается из берлоги.

А дорога-то длинная, убродная, сани-то в сугробах вязнут, со скал скатываются, постромки у коней лопаются, ругань да грех.

Приходилось лыжникам ветви рубить, бросать на дорогу, на скалы волоком на жердях да бревнах сани втаскивать. Руки-то сплошь в волдырях да кровоподтеках.

На коленях в кошеве перед иконой Николая Мирликийского неустанно пела акафисты о странствующих помощи тихая старица Александра.

Ну, а все ж — переперли, победили.

Вот тебе и Три Сосны, камень Работничий меж ними, а дальше дорога человеческая к зырянскому селу Черно-Орехово; за селом Тобольский тракт, с тракту — прямо на Иртыш, к кремлевским стенам белокаменным.

Дивуется пуще белок народ по тракту — откуда такая тьма раскольников понавалила. Иконы-то в серебряных окладах, хоругви золотые.

— Неужто советскую власть в Тобольске свергли.

Кто и ответит:

— Идут, значит — коли не свергли, то скоро свержение. Зря не пойдут.

— Где итти! Дяди, а дяди...

Молчат раскольники, хоры еще громче славословия поют.

Кремль там далеко по Иртышу видно, золотые луковки церквей будто только что из праха вышли, кругом-то белые дома... Все б хорошо, кабы не тюрьма...

У ворот городских конные воины в суконных шлемах, на конях.

— Станом, на льду, легче будет чин развести, — приказывает Гавриил-юноша.

Дело перед весной, морозцы-то поопали. Распряглись, сани оглоблями вверх, зажгли костры и стали выбирать, кого послать к городским игуменам и архиереям с вестью о древлем благочестии.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Язык лежит, как мертвец, а поднимется — небо достанет. Сначала в городе подумали — восстание или пленные из германского плена пришли. Костры на реке горят, ходят вокруг стана злющие собаки, внутри как в улье: в животе ярмарка, шум, разговоры, а в пупке, у входа — тревога. Любопытные у пупка так днями и торчали. Так вот, послали

к ним агитаторов. Языки-то и оказались мертвецами. А раскольники никому не верят и все не могут сговориться, кого в город послать епископов разыскивать. Среди молодежи ропот: «Что, дескать, как труба, зря все в небо глядеть? Подавай встречающих епископов».

Вздыхают пустынники, сосульки слез на бородах стынут. Белокаменные стены кремлевские, как угол в избе: снаружи рогато, а внутри комоло — вот и пойми.

— Гласом должны возопить стены кремлевские: придите. Может, палаты-то райские диавол успел захватить... Позор, горе нам и смущение...

Дьявол дьяволом, а собор устраивать на льду под ветром — не то, что на кедровых лавках в теплой горнице. Разговор больно злобен, и к старшим почтенья нет. Мужики помоложе рукавицами похлопывают, ходят вокруг костров и открыто над пустынниками начинают посмеиваться: чего, говорят, вы двести лет нас в тайгах морили — люди, как все. А молодицы, те прямо в город норовят, Сашу начинают вспоминать... А где — люди, как все? По лику — Русь, а по одёже чисто черти: ноги обернуты тряпичными лентами, башмаки на ногах бабьих — большие будто колоды, шапочки-шляпочки — как воронье гнездо. А девки стриженые, юбки в насмешку над верой колоколом сшиты, короче колен, ноги почти голые... И смешно и больно...

И говорит тут тихая старица Александра:

— Пойду я сама в город, к епископу али воеводе...

Выбрала клюку, подпоясалась смиренно мочалой и сама чует — идет будто тень без ног.

Улицы-то широкие, как елани, дома сплошь кирпичные, гладкие, а среди их народишко спешит, подпрыгивает, у каждого кожаная сумка в руках, либо мешки за спиной, либо санки позади тащит. Город-то каких-нибудь пять верст, а спешки у людей на тысячу. Спрашивает она одного, что постарей да побородатей:

— Где тут к воеводе пройти?

Тот, не думая, в монастырь ее направил. Старица обрадовалась: значит верно, пришла старая вера, коли живет воевода в монастыре, да и сам, поди, из духовных, вроде Авраамия Палицына. Снегом занесен двор монастырский, тропки меж сугробов, как в лесу. По тропкам тем люди в длинных балахонах травяного осеннего цвета бродят. Болтаются у них от пупа до пят сабли, как жерди.

— Где тут, — спрашивает, — пройти к воеводе?

Ткнули пальцем на церковь. Опять умилилась старица. Входит, а там тишина да холод, решотки в окнах инеем, будто пухом, обернуты. «Экий благочестивый воевода, в такой холод молится», — думает старица и кладет начал перед древними иконами. Оглядывается: да где ж тут коленопреклоненный человек? — пустыня, а не церковь. Старичок какой-то забрел — и удивился на нее. Она же — опять о воеводе. Тогда указал ей старичок на плиту мраморную возле стены.

— Здесь воевода...

И доподлинно — начертано славянской вязью на той плите, что «похоронен здесь с родами своими, всего пять душ, воевода Иван Астафьевич Ржевский в 1682 году»... Даже обиделась старица: мне, мол, живого воеводу городского надо. Подобрал губы старичок: дескать, и ветха же ты, старица. Направляет ее за всякими справками в бывший губернаторский дом, нынче — совет. И опять, как в полдень тень — пядень, а вечером через все поле хватает, так через всю душу почуяла старица тоску.

Двери и стены в том совете табачищем пропахли. Стоят в каждую комнату люди в затылок. Ругаются, плюются, вонь от них. Бумажку какую-то от старицы требуют. Кричат стрельцы-солдаты ей: «Воеводиных никаких здесь нету, здесь за главного товарищ Егоров, а к нему — в затылок». Никак не может попасть старица в этот самый затылок.

Стоит-стоит, дойдет до стола, где стриженая девка ногами болтает, — опять не туда. Так и мечется в сенях подле нескончаемых дверей, как челнок среди пряжи.

Только, откуда ни возьмись, бежит по сеням с мешком в руке Марешка-зверолов.

— Марешка! — кричит его старица.

Оторопел тот, мешок выронил. Кинулся под благословенье.

— Матушка, тихая старица Александра, как ты сюды?

Сразу построжала, подправилась старица.

— Ты меня допреж к епископу.

— Нету, матушка, в этом городе епископов. Был один, да пристрелили.

— К игумну веди в любой монастырь.

— И игумны, матушка, все сбежали, а то и пристрелены. И монастыри-то под лазаретами. В церквах-то попы не знают, что и служить. Табаку даже, и то достать трудно, матушка.

Как тень со стены не вырубишь, так и горя из себя не выбросишь. Опять на сердце-то смола.

Вздохнул, глядя на нее, Марешка.

— Теперь окажи мне, Марешка, где Саша-то?

— Замуж вышла, матушка, прямо как есть замуж.

— Кто сводные молитвы читал? Али вокруг сосен венчана, а?..

Вспомнил Марешка Три Сосны, как плясали подле них, когда выбрались из камышей. Почти что угадала старица. Опять вздохнул.

— Я тут не при чем, матушка.

Даже батог подняла старица.

— Ты, окаянный, ты отрекаешься!.. Зачем увез коли? На старости лет сблудить да бросить?..

— Да я ее, матушка, не увозил. Ушла она с Запусом, комиссаром здешним, стольник, что ли, по-вашему, чи-

ном-то... Мне пищаль к рылу наставили: кажи дорогу. Мне помирать не в привычку, я...

Боль-то растет сама собой, как щель в дереве. Подперлась ботогом, в стену долго смотрела, а затем говорит тихо Марешке:

— Веди меня, да не спеши... катко, ноги скользят.

А где там ноги, коли сердце.

Опять дома да сени, где дверей — как в блудливом совете, из дверей прыгают с визгом голорукие девки. «Квартиранты», — говорит Марешка. А просто — погань, грибы мухоморы. Светелка у Саши пустая почти, занавесок нет: кровать да печь из железных листьев. Сидит Саша на кровати в сарафане, слава богу, в окно смотрит.

— Матушка! — крикнет как и — в плечо.

Ну, и старуха же была, прямо застенный мастер будто. Отвела рукой голову от плеча, еще оглядела светелку. Галифе с табурета (Саша их чинила) клюкой в угол скинула, повела бровями:

— Надевай платок, пойдем.

Говорит ей звериными губами Саша:

— Никуда я не пойду, матушка. Здесь останусь.

Опять стукнула клюкой, на Марешку случайно ее взгляд лег — так тот боком, да за дверь, так больше и не появлялся.

— Прокляну!

В дверях старица, а мимо по сеням мальчишка пробежал, за ним другой. Визжат, барахтаются, прыгают.

— Рожают наши бабы таких, румяных, матушка?.. Такой бы у тебя наследник был... Парнишки-то наши гнилые да сини, будто хвощи осенние.

— Басурманы!

Распахнула дверь.

— Пойдем... Прокляну!

Дочь ведь одна-единственная...

И тогда громким троекратным возгласом прокляла тихая старица Александра-киновиарх дочь свою. Вышла не оглянувшись. Наскочили на нее в сенях играющие ребятишки, отшвырнула она их и крикнула вслед:

— Будьте и вы именем господа трижды и трою прокляты!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Я не манерничаю, переставляя главу: она должна быть последней. Но мне не хочется кончать нашу повесть мелкой встречей моей с шулером, болтуном и карманным воришкой Галкиным. К тому же мне обидно: я не понял и не узнал Галкина. Кто ему сестрица Аленушка и тихий убийца — братец Иванушка. Жена, сестра, проститутка, встреченная на вокзале, подруга по мастерству? Он намекал мне на какие-то жертвы и потери, что он жертвовал для нее. И почему он боязливо смотрел на братца Иванушку? Кто они, откуда?..

Наша встреча закончилась так.

Галкин кончил говорить, выпил еще рюмку. Он был совершенно сыр-пьян. Он низко наклонился ко мне, оглянулся боязливо на Иванушку и пьяно растянул:

— У меня тоже скоро ро-одится...

Мне хотелось спать, было поздно, свечи догорели в фонаре, как пишется в таких рассказах (а они действительно сгорели: кондуктор, по-моему, дал нам половину свечи), — и со смехом, чтобы рассеять сон, соврал Галкину:

— А у меня уже трое ребят есть...

И вдруг Галкин метнулся, завопил:

— Что ж я наделал, злодей, я же...

Было б совсем не плохо раскрыть таким способом кражу. Но красавец Иванушка опрокинул Галкина, зажал ему рот и так поглядел в меня... Я притворился спящим. Да мне, право, так хотелось спать, что нисколько не жалко было своих сорока восьми червонцев. Галкин пытался еще крикнуть что-то мне, но Иванушка легонько стукнул его по лбу,

и он затих. На ближайшей станции, далеко не доезжая до Тифлиса, они слезли. Аленушка шла сонная, недовольная, Галкин качался невыносимо; «ломался», по-моему, немного, бил себя кулаком в грудь и визжал:

— Трое, мал-мала меньше... «Папаша, — кричат, — хлеба!..» А я его, я с ним как поступил!..

С того времени, к сожалению, я не встречал Галкина.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Да, зовут Запуса в губисполком. Вот, говорят, специалист вы по раскольникам, экспедицию готовите на какой-то Остров, — подите с ними на Иртыш, об'яснитесь. Не понимаем, чего они от нас хотят. Дикари. Пришли говорить, а электричество зажглось — они бежать из комнат. Молодежь будто бунтует, однако не поймешь.

Раньше бы Запус к раскольникам на автомобиле шарахнул, надымил бы, языком навертел, а тут сел он на своего голубого коня и не спеша — шапку на брови — отправился.

Окружили его раскольники. Конь под ним фыркает, уши — как куклы на ярмарке пляшут. Смотрят на коня раскольники, ухмыляются... волосы у них на темечке выстрижены. Посреди ходит начальник ихний, на безмен похожий, указным способом из ручной кадильницы кадит. Кафтаны-однорядки по вороту и по бортам красными кружками обшиты.

«Эк, ведь это мне от Петра историю-то им об'яснять надо, — думает Запус. — Учиться, видно, мне надо, а?..»

А как подумал это, так и совсем спутался. Да и что им можно об'яснить на морозе. Они вопросы задают: каким, скажем, крестом надо креститься и сколько раз аллилуия петь. Почесал Запус затылок.

— А я, граждане, ей-богу, не знаю... Мы религию отделили, так сказать, как гнилой ломоть.

— Чего ж божишься?

— Раз басурман, не божись.

— Казак он, а не басурман.

— И верно, казак.

— Переменили беду на напасть...

Не зная для чего, предложил им Запус мосты и гати через топи к Бело-Острову провести. «Об вере столкуемся позже, а сейчас — на защиту отечества да имущественную перепись произвести». Перепись же им будто раскаленное тавро на душу: Антихристова печать. Как сказал — перепись, отсюда и началось. Одни кричат, полами машут:

— Вертай оглобли, сбирай коней, затягивай гужи, пошли обратно!

Другие кафтаны рвут.

— Пиши!

Юркенький, розовый такой нашелся, дальше узнал его фамилию — Понамарев. Он у них вроде бунтаря ходил, во всех догмах сомневался... помер потом под Кронштадтом, что ли. Выскочил вперед к Запусу:

— Пиши. Не хотим, как бобры, в топях жить, надоела нам вода. Земли нарежешь?

— Земли много, нарежем, — ответил Запус и подумал тут он: «Сами разберутся, надо забусить». Ну, тут опять, как в улье, — шум, крики. Разметались бороды, как метели, в руках иконы появились, каждый перед своей иконой клянется. Развернули старухи хоругви, хор запел. Наконец и старица Александра вперед вышла, рукой на кремль махнула:

— Будь вы окаянны, кто до города Содом пойдет! Старики, хомутайте коней — вертаем к Острову.

А ее опять в толпу закрутило. К Запусу большеголового безменного человечка вынесло. Весь в слюне, с колом. Посмотрел на него Запус, подмигнул по озорной своей привычке, на маузер ладонь положил. Ну, а тот и не вытерпи, размахнулся колом и угодил в того розового, Понамарева. Парень не дурак: наотмашь, в зубы. На кулаке и остался весь заряд зубов-то Гавриила-юноши.

«Ну вас к чорту», — подумал Запус, старика какого-то со стремени спихнул — и от'ехал в сторону.

А на льду самая кунсткамера-то и началась: которые в город хотят — к себе свои сани и иконы тащат, которые в тайгу — к себе. Сначала на кулаках шли, показалась кровь едва — в колья. Народ-то хлипкий: как треснут кого, так с копылков долой, будто кочан. В сторонке бабы за волосы таскаются, плюются, друг дружке срамные места показывают. Костры пораскиданы, поразбросано имущество, собаки воют: им-то уж совсем ничего не понятно.

И вдруг видит: взметнулся смертным взмахом кол, привстал даже в стременах Запус, лошадь по льду подковами взыграла. Тепло ему стало. «Эх, кокнули кого-то», — подумал Васька.

Тогда разделился табор на две части. Старуха осталась в кошеве, икон подле нее накидали, будто иконостас упал. Руки кверху тощие задрала и проклинает половину обоза, которая в город направилась. На снегу, подле кошевы труп положили. Под'ехал Запус поближе, узнал — безменный человек. Еще пальцы по снегу трепещутся, как выкинутые из сети рыбки. Скоро и они перестали трепыхаться. Не свесить теперь безменному человеку ни горестей, ни радостей, ни любви. Амба. Положили труп его на воз, затянули старики трясущимися руками на хомутах супони.

Передвинул Запус шапку с уха на ухо и тихонько шевельнул голубого коня к городу.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Шел обоз обратно медленно, в каждой деревне останавливался.

— Какой волости? — спрашивали мужики. — Насчет разверстки не слышно? А вы что — так али восстание было, сплошь старики в город ездили?

По утрам-то подтаивало, в полдни-то пар голубой над полянами курился. Береза — самое теплое дерево — стволами, как огнем, прожигала снега. Листья прошлогодние на снегу показались, скоро до земли дойдет солнышко-то. Старики-пустынники мерзли, проезжая через зырянское село, тоскливо так смотрели на видневшиеся вдали леса:

— Успеем ли, матушка? Кабы льды не колыхнулись, ведь толды не попасть.

— Успеем, — отвечала им тихая старица Александра-киновиарх.

Как в цепи узлов не узнать, так в тайге — радости. Иной поет, а иной за всю лесную жизнь не улыбнется. Которые пустынники даже настоль помолодели — на холм Трех Сосен стали в'езжать, коням за тяжи помогали. Наст так легонько звякает под полозьями, солнышко ясное, крут да ясен холм, и Три Сосны — будто три святителя. Строго кругом и весело. Расположились на ночлег в звериную избушку, теснота там и жара. Приказала старица: утром срубить Три Сосны, сжечь избушку — не было б возврата в «мир». Рьяные еще с вечера срубили сосны. С гулким шумом повалились они на льды. Брызнули воды, и в незнаемой речке утонули головами великие деревья... Душно в избушке стало старице, вышла она передохнуть. Блестела поляна по-особому, легко-синевато, предвесенне. Смолой пахло от срубленных-то сосен, и жалко — сосны-то в сколько обхватов. «Так и старую веру покрушили», — подумала старица, спустилась к реке мимо возов. На одном в кедровой колоде вечным покоем лежал Гавриил-юноша, везли его в родные голубцы... Лед-то на речке был еще ровный, не ноздреватый. Подале, влево в камышах прошел, легко ломая льдистую траву, какой-то зверь. В пустыне у него свое логово и свои детеныши — вот и спешит туда. Тоска-то на ней, на старице, как тень на воде — лежит, да не тонет. Вернулась она опять в избенку, пристальнее пригляделась к спящим-то. А ведь верно сказали

мужики-то на постоялом: сплошь старики остались; который хоть и молодой, да дряблее старика. Лица строгие, будто у мертвецов, щеки провалились, и будто бороды-то чужие. Еще тяжелей ей стало. «Грехов-то сколько, грехов-то»... Вышла опять к Трем Соснам, а те будто распухли. Или месяц давал им такую тень. Справа полынья синяя-пресиняя, а в ней — как подсонечник — месяц. Пошла она к полынье. Месяц прыгнул на средину и расплылся, будто кисель. Наклонилась, а ей виднеется из полыньи-то плосконькая головка, как лист, а ниже тулово, как бурак. Тьма внизу не рожденная, не сотворенная, никаким искусством не сличенная, ни с тоской, ни со злобой. Пошатнулась старуха:

— Господи, спаси...

★

А наутро, когда и берест под угол избушки заложили, достал пустынник Дионисий огниво, — хватились: нету старицы. Кинулись в лес, кто-то вспомнил, что стояла она вечером у Трех Сосен. Когда валились — не попала ли? старушка-то мала, будто жучок. Да нет, не грешны кровью вековушные сосны. Кинулись на лед, подле полыньи нашли клюку тихой старицы Александры-киновиарх. Сели подле полыньи причитальщицы: погиб тихий юноша-Гавриил, тело его хоть идет на Бел-Остров... что ж — где ж ты будешь похоронена, кроткая? Доспели багры, в полынье стали рыть, а там водоворот — нет дна, багры крутит, вырывает.. Перекрестили воду, прочли упокойные молитвы и пустили в полынью наскоро сколоченный крест... А солнце пропекало зипуны. У краев речушки и в камышах ноздреватый да хрупкий, как соты, лед показался. И говорит тогда старец Дионисий:

— Пять дней еще быстрейшего ходу до Бел-Острова. Синичка прилетела, ноне видал, лед скоро пойдет. Сотворим, братие, последний начал... Не найти вам, видно, старицы.

И пустил огня под бересту, под охотничью баньку. Мотанулось по бревнышкам, по кровельке пламя.

— С богом, — сказал Дионисий и подал знак: двигаться обозу через реку.

А пламя раскидалось, как кабан с золотой щетиной. Кинулось на сосны — потекла смола с вековых деревьев, сухари — дуплистые такие деревья, на корню чудом уцелевшие, как береста, вспыхнули. От жары молодые ветки в огненные шары склубились, ветер их сорвал и понес дале. Стеной огненной встала тайга над речушкой, шипит над камышами, стреляет, звериным воем провожает.

Три месяца бушевал пожарище-то, зырянское село Черно-Орехово едва отстояли. Сам потух.

А раскольники? Ничего, доперлись. Как старец Дионисий сказал — точно: на шестые сутки треск прошел по речке, будто шелк рвали. А через недельку и топи открылись. Ну, теперь и попробуй, попади на Белый Остров.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Про старуху тебе или про Запусову любовь? Любовь! Любовь, братишка, будто темная карта — рубашка вверх.

Запус-то был вокруг Саши, как вокруг тына хмель с золотой гривой. Сидят, чай пьют, а тут на тебе, распахивается дверь и с котомкой мамаша ее, Александра-киновиарх — и первую речь о детях завела, а об раскольниках ругательно: «Прогнали меня прочь яко нечестивую, да и тошно мне со стариками, дай, из угла на тебя буду смотреть». Вот и сидит, и смотрит. Старуху я отлично понимаю, а все остальное — ерунда и мокрятина, дешовая карта. Му́ка-то не оттуда начинается, му́ка начинается с другого... Поживешь поездишь, посвистит тебе ветер в уши, ну, глядишь, и поймешь.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Жизнь Смокотинина 3
Полынья 13
Ночь 25
Поле 41
Плодородие 47
Смерть Сапеги 83
Яицкие притчи 95
Пустыня Тууб-Коя 106
Бегствующий остров 132

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ
ОБОЗНАЧЕННОГО ЗДЕСЬ СРОКА.

26 АПР 1930
13 МАЯ 1930